

Александрийский шейх и его невольники

– Вильгельм Гауф –

Сказки В. Гауфа



Настоящая электронная книга создана с целью ознакомления детей с литературным творчеством лучших писателей мира.

Издательство
"Алиса в стране Чудес"

Александрийский шейх Али-Бану и его невольники

Странным человеком был александрийский шейх Али-Бану. Когда упрям он шел по улицам Александрии в дорогом кашемировом пюрбане, в праздничной одежде и богатом поясе, стоимостью в пятьдесят верблюдов; когда он выступал медленно и важно, нахмутив лоб, сдвинув брови, попутив глаза и, каждые пять шагов, задумчиво поглаживая свою длинную черную бороду; когда он шествовал так в мечеть, чтобы, как того требовал его сан, полковать правоверным Коран, – тогда встречные останавливались, глядели ему вслед и говорили друг другу: «Ведь какой красивый, осанистый человек». «И богат, богат и знамен, – прибавлял другой, – очень богат: у него и замок у Стамбульской пристани, у него и поместья, и угодья, и много скота и рабов». «Да, – замечал третий, – а тот таптарин, которого недавно послал к нему из Стамбула сам повелитель правоверных, – да благословит его пророк! – говорил, что наш шейх в большом почете у рейс-эфенди, у капудан-паши, – у всех, даже у самого султана». «Да, – восклицал четвертый, – каждый его шаг благословен небом! Он богат и знамен, но – вы знаете, что я имею в виду!» «Да, да, – шептались в толпе, – что правда, то правда, – у каждого свое горе; не желал бы я поменяться с ним долей; он богат и знамен, но, но...»

На самой красивой площади Александрии у Али-Бану был великолепный дом. Перед домом раскинулась широкая терраса, выложенная мрамором, осененная пальмами. Вечером он часто сживал там и курил кальян.

Двенадцать богато одетых невольников, стоя в почтительном отдалении, ловили его взгляд – у одного был для него наготове бетель, другой держал зонтик, третий – золотые сосуды с вкусным шербетом, четвертый опахалом из павлиньих перьев отгонял мух от своего господина, певцы, с люпнями и флейтами, ждали, когда он пожелает усладить свой слух музыкой;

а самый ученый из невольников приготовил свитки, дабы развлечь его чтением.

Но напрасно ждали они от него знака: ему не угодны были музыка и пение, ему не хотелось внимать изречениям и стихам мудрых поэтов былых времен, не хотелось отведать щербета, пожевать бетеля, – даже раб с опахалом из павлиньих перьев старался напрасно – господин не замечал, когда около него жужжала муха.

И часто прохожие останавливались и дивились на великолепие дома, на невольников в роскошных одеждах, на все окружавшие его приятности; но затем, когда они переводили взгляд на сидевшего под пальмами шейха, серьезного и хмурого, не отводившего глаз от голубоватого дымка кальяна, они покачивали головой и говорили: «Поистине, этот богач – бедняк. Он, имущий, бедней неимущего, пророк не дал ему разумения, дабы наслаждаться своим богатством». Так говорили прохожие, смеялись и шли своей дорогой.

Как-то вечером, когда шейх, окруженный всей земной роскошью, сидел, как обычно, в тени пальм на пороге своего дома и в одиночестве печально курил кальян, неподалеку собралось несколько юношей; они глядели на него и смеялись.

– Поистине шейх Али-Бану глупец, – сказал один из них. – Мне бы его сокровища, я распорядился бы ими иначе. Что ни день, шло бы у меня веселье и роскошество. В обширных хоромах пировали бы друзья, и радость и смех оглашали бы эти унылые своды.

– Да, оно бы не плохо, – возразил другой, – да только с многочисленными друзьями, пожалуй, быстро проживешь все имение, будь оно хоть столь же несметно, как у султана, да благословит его пророк. Довелось бы мне сидеть вечерком здесь под пальмами, на этой красивой террасе, я приказал бы рабам петь и играть, я позвал бы танцовщиков, и они бы плясали, и прыгали, и проделывали всякие замысловатые штуки. А я важно

покуривал бы кальян, смаковал вкусный шербет и наслаждался всем, словно король Багдада.

– Шейх, – молвил претий юноша, бывший писцом, – шейх, как говорят, человек ученый и мудрый, да и правда, его полкование Корана свидетельствует о его начитанности и глубоком знании всех поэтов и мудрых писаний. Но разве жизнь, которую он ведет, подобает разумному мужу? Вот стоит невольник с целой охапкой свитков; я отдал бы свою праздничную одежду за возможность прочесть хоть один из них, ведь все они, конечно, большая редкость. А он! Он сидит и курит, а до книг ему и дела нет. Будь я шейхом Али-Бану, невольник читал бы мне до хрипоты или до наступления ночи. Но и тогда он должен был бы мне читать, пока я не засну.

– Ишь ты! Нечего сказать, вы знаете, как устроить приятную жизнь, – засмеялся четвертый. – Есть и пить, петь и плясать, читать изречения и слушать стихи жалких поэтов! Нет, я бы устроил свою жизнь совершенно иначе. У него прекрасные кони и верблюды и куча денег. На его месте я пустился бы в путь и ехал бы, ехал до края света, до самой Московии, до франкской земли. Чтобы поглядеть на чудеса света, я не побоялся бы самой дальней дороги. Вот как бы я поступил, будь я на его месте.

– Юность – прекрасная пора, в этом возрасте все радуется, – молвил невзрачный с виду старик, стоявший неподалеку и слышавший их речи. – Но позвольте мне сказать, что юность неразумна и болтает зря, сама того не понимая.

– Что вы хотите сказать, старичок? – с удивлением спросили юноши.
– Уж не нас ли вы имеете в виду? Какое вам дело, порицаем мы образ жизни шейха или нет?

– Если один человек знает что-либо лучше другого, пусть он исправит его заблуждение, так повелел пророк, – возразил старик. – Правда, небо благословило шейха богатством, у него есть все, чего пожелает душа; но хмур и

печален он не без причины. Вы полагаете, он всегда был таким? Нет, я видел его пятнадцать лет тому назад; тогда он был весел и бодр, как газель, жил радостно и наслаждался жизнью. В ту пору у него был сын, радость его очей, красивый и образованный; и всякий, кто его видел и слышал, завидовал шейху, владевшему таким сокровищем, – сыну шел всего десятый год, а учен он был как другой и в восемнадцать вряд ли будет.

– И он умер? Бедный шейх! – воскликнул молодой писец.

– Для шейха было бы утешением узнать, что сын его вернулся в отчий дом, в обитель пророка, где ему жилось бы лучше, чем здесь, в Александрии. Но то, что пережил он, гораздо хуже. В те дни франки, как голодные волки, напали на нашу землю и начали с нами войну. Они покорили Александрию и отсюда совершали набеги все дальше и дальше в глубь страны и воевали с мамелюками. Шейх был умным человеком и умел с ними ладить. Но то ли они позарились на его богатство, то ли он помог своим единоверцам, точно не скажу, – словом, как-то они пришли к нему и обвинили его в том, что он тайно снабжает мамелюков оружием, лошадьми и провиантом. Как он ни доказывал свою невиновность, ничто не помогло; франки народ грубый и жестокосердый, они идут на все, когда дело касается денег. И так, они забрали заложником его сына, по имени Кайрам. Шейх предложил за него много денег, но франки хотели вынудить шейха повысить выкуп и не отпустили его сына. Тут вдруг их паша, или как там его зовут, неожиданно отдал приказ готовиться к отплытию. В Александрии об этом никто не знал, и они уплыли в открытое море, а маленького Кайрама, сына Али-Бану, они, верно, увезли с собой, так как с тех пор о нем ничего не слышно.

– Ах, несчастный отец, как покарал его Аллах! – единодушно воскликнули юноши и с сожалением посмотрели на шейха, который при всем окружающем его великолепии, грустный и одинокий, сидел под пальмами.

– Жена, которую он очень любил, умерла с горя. А он купил корабль, снарядил его и уговорил франкского лекаря, что живет там внизу у колодца, отправиться с ним в Франкистан на поиски пропавшего сына. Они сели на корабль и долго плыли по морю, пока наконец не прибыли в землю пех гяуров, пех неверных, что были в Александрии. Но там, говорят, как раз пворилось что-то неладное. Франки свергли своего султана и пашей, и богатые и бедные рубили друг другу головы, и в стране не было порядка. Тщетно спрашивали они во всех городах о мальчике Кайраме, – никто не слышал о нем, и франкский лекарь посоветовал наконец шейху плыть обратно, не то, чего доброго, им самим не сносить головы.

Так и вернулись они домой, и с приезда по сей день шейх ведет все ту же жизнь, что сейчас, ибо он скорбит по сыну, и он прав. Разве, когда он ест и пьет, он не думает: «А мой сынок Кайрам, может быть, помится голодом и жаждой»? А когда он облачается в дорогие шали и праздничные одежды, как того пребуют его сан и достоинство, разве он не думает: «А ему, верно, нечем прикрыть наготу»? А когда его окружают певцы, плясуны и чпецы, – его невольники, – разве он не думает: «А мой бедный сын, верно, сейчас пляшет или играет в угоду своему франкскому повелителю»? Но больше всего печалит его мысль, что вдали от отчизны, среди неверных, терпя их насмешки, его милый Кайрам позабудет веру отцов и им не придется обнять друг друга в райских садах! Вот потому-то он так милосерд к своим рабам и щедро оделяет нищих; он думает, что Аллах воздаст ему за это и смягчит сердца франков, повелителей его сына, и они будут ласковее к нему. И каждый раз, как наступает день, когда у него похитили сына, он отпускает на волю двенадцать рабов.

– Об этом я тоже слышал, – ответил писец. – Но каких только чудес не наговоят? О его сыне при этом не упоминали, зато, правда, рассказывают, будто шейх странный человек и особенно падок на сказки, будто каждый год

он устраивает состязание между своими рабами и того, чей рассказ лучше, отпускает на волю.

– Не верьте людской молве, – сказал старик, – все так, как я говорю, я уж верно знаю; возможно, что в этот печальный день ему хочется приободриться и он велит рассказывать себе сказки; но отпускает он рабов в память сына. Однако свежее, мне пора. Салем-aleyкюм, мир с вами, молодые люди, и в будущем судите получше о нашем добром шейхе.

Юноши поблагодарили старика за сведения, еще раз взглянули на скорбящего отца и пошли своей дорогой, повторяя: «Да, не хотелось бы мне быть на месте Али-Бану».

Вскоре после того, как юноши разговаривали со стариком о шейхе Али-Бану, случилось им проходить по той же улице в час утренней молитвы. Им вспомнился старик и его рассказ, и они пожалели шейха и взглянули на его дом. Но каково же было их удивление, когда они увидели, что весь дворец разубран на славу! На кровле, по которой прохаживались нарядные невольницы, развевались знамена и флаги, сени утопали в дорогих коврах, с широких ступеней спускались шелковые ткани, даже улицу успилало прекрасное тонкое сукно, на которое многие позарились бы для праздничной одежды или для покрывала.

– Ишь как переменился шейх за несколько дней! – сказал молодой писец. – Уж не хочет ли он задать пир? Уж не хочет ли он, чтоб потрудились для него певцы и танцовщики? Посмотрите только на ковры! Пожалуй, ни у кого во всей Александрии не сыскать таких! А сукно-то какое на голой земле, просто даже жалко!

– Знаешь, что я думаю? – молвил другой. – Он, верно, ждет знатного гостя. Такие приготовления делаются по случаю приема повелителя могущественной страны или эфенди султана, когда они осчастливливают дом своим посещением. Кого-то ждут здесь сегодня?

– Смотри-ка, кто это там идет, – уж не наш ли старик? Он ведь все знает и, верно, нам все растолкует. Эй, старичок! Нельзя ли вас попросить на минутку сюда! – окликнули они его; старик заметил их знаки и подошел, признав в них тех юношей, с которыми беседовал несколько дней тому назад. Они обратили его внимание на приготовления в доме шейха и спросили, не знает ли он, какого знатного гостя там ожидают.

– Вы думаете, Али-Бану задает сегодня веселый пир или знатный гость оказал честь его дому? Это не так, – сказал он, – но сегодня, как вы знаете, двенадцатый день месяца рамадана, а в этот день увели в заложники его сына.

– Но, клянусь бородой пророка! – воскликнул один из юношей. – Все убрано так, словно здесь свадьба и пиршество, а ведь это для него памятный день скорби. Как это понять? Согласитесь, у шейха все-таки несколько помутился рассудок.

– Не судите ли вы по-прежнему слишком поспешно, мой молодой друг? – улыбаясь, спросил старик. – И на этот раз стрела у вас острая и хорошо отпеченная тетива на луке натянута туго, и все же вы бьете далеко мимо цели. Знайте же – сегодня шейх ждет своего сына.

– Так он найден? – воскликнули юноши и обрадовались за отца.

– Нет, и, верно, еще долго не будет найден, но знайте: лет восемь – десять тому назад, когда шейх в скорби и печали справлял этот день, по своему обычаю, – отпускал рабов и кормил и поил нищих, – случилось ему послать пищу и питье одному дервишу, в изнеможении прилегшему в тени его дома. А дервиш этот был святым человеком, прорицателем и звездочетом. Подкрепившись от щедрот милостивого шейха, он приблизился к нему и сказал: «Мне известна причина твоего горя; ведь сегодня двенадцатое число месяца рамадана, а в этот день ты лишился сына. Но утешься, день скорби превратится для тебя в день ликования, знай: в этот день вернется к тебе сын». Так сказал дервиш. Усомниться в речах такого человека было бы грехом

для мусульманина. Правда, скорбь Али не утихла, но все же каждый раз в этот день он ожидает возвращения сына и украшает дом, сени и лестницы так, словно тот может вернуться в любую минуту.

– Чудеса! – воскликнул писец. – А все-таки хотелось бы мне поглядеть на великолепное убранство и на шейха, как он грустит среди всего этого великолепия, но, главное, хотелось бы мне послушать рассказы его невольников.

– Нет ничего легче, – ответил старик. – Надсмотрщик над его рабами с давних пор мне приятель и всегда в этот день устраивает мне местечко в зале, где, в толпе слуг и друзей шейха, один человек пройдет незамеченным.

Я поговорю с ним, может быть, он впустил и вас. Вас ведь всего четверо; думаю, как-нибудь устроим; приходите в девятом часу сюда на площадь, и я передам вам его ответ.

Так говорил старик; юноши поблагодарили его и удалились, снедаемые любопытством посмотреть, как будет шейх справлять этот день.

К назначенному часу они пришли на площадь перед домом шейха и встретили старика, тот сказал, что надсмотрщик над рабами позволил провести их. Он пошел вперед, но не по богато устланым лестницам и не через главные ворота, а через боковую калиточку, которую тщательно запер за собой. Потом он повел их по разным галереям, и наконец они попали в большую залу. Здесь было полно народу: тут были и именитые мужи в богатых одеждах, и друзья шейха, пришедшие утешить его в его скорби, тут были и невольники разного возраста и разных народностей. И у всех на лице была печаль, ибо они любили своего господина и скорбели вместе с ним. В конце залы на роскошном диване восседали самые знатные друзья Али, и невольники прислуживали им. Около них на полу сидел шейх: скорбя по сыне, он не хотел сидеть на праздничном ковре. Он подпер голову рукой и, казалось, мало внимал словам утешения, которые нашептывали ему друзья. Напротив

него сидели несколько старых и молодых мужчин в невольничьей одежде. Старик поведал своим юным друзьям, что это рабы, которых сегодня отпускает на волю Али-Бану. Среди них было и несколько франков, и старик обратил особое внимание юношей на одного из них, отличавшегося писаной красотой и еще очень молодого. Всего несколько дней тому назад шейх купил его у тунисского работорговца за большие деньги и, однако, уже сегодня отпускал его на волю: он верил, что чем больше франков отправит он обратно на родину, тем скорее вызволит пророк из неволи его сына.

После того как всем разнесли прохладительные напитки, шейх подал знак надсмотрщику над рабами. Тот поднялся, и в зале воцарилась глубокая тишина. Он стал перед невольниками, которых должны были отпустить на свободу, и громко произнес: «Слушайте, рабы, отпускаемые ныне на волю по милости моего господина Али-Бану, александрийского шейха, пусть каждый, как полагается в этот день у него в доме, соблюдет обычай и что-нибудь расскажет».

Они пошептались между собой. Затем заговорил старик невольник и повел свой рассказ:

Карлик Нос

Господин! Как не правы те, кто думает, будто только во времена Гаруна аль-Рашида, владыки Багдада, водились феи и волшебники, и даже утверждают, будто в тех рассказах о проделках духов и их повелителей, что можно услышать на базаре, нет правды. Еще и в наши дни встречаются феи, и не так давно я сам был свидетелем одного происшествия, в котором принимали явное участие духи, о чем я и поведаю вам.

В одном крупном городе любезного моего отечества, Германии, много лет тому назад тихо и мирно жили сапожник с женой. Он сидел целый день на

углу улицы и лапал башмаки и пухли и даже тачал новые, если кто доверял ему эту работу, – но в таких случаях ему приходилось покупать раньше кожу, потому что он был беден и не держал запасов. Жена его торговала овощами и плодами, которые разводила в садике за городскими воротами, и люди охотно покупали у нее, потому что она одевалась опрятно и чисто и умела красиво разложить и показать лицом свой повар.

У этих скромных людей был красивый сынок, складный, пригожий лицом и для своего двенадцатилетнего возраста довольно крупный. Обычно он сидел подле матери в овощном ряду и охотно помогал хозяйкам и поварам, закупившим много всякого повара у сапожниковой жены, донести его до дому; и с такой прогулки он редко возвращался без красивого цветка, мелкой монеты или лакомства, потому что господам нравилось, когда повара приводили с собой красивого мальчика, и они всегда щедро его награждали.

В один прекрасный день сапожникова жена сидела, по своему обыкновению, на базаре; перед ней стояли корзины с капустой и другими овощами, с различными правами и семенами, а в корзиночке поменьше лежали ранние груши, яблоки и абрикосы. Сынок ее Якоб, так звали мальчика, сидел около и звонким голосом выкрикивал: «Пожалуйста, господа, взгляните, что за чудесная капуста, что за душистые права! Покупайте, хозяйки, ранние груши! Кому ранние яблоки и абрикосы! Мать торгует без запроса». Так выкрикивал мальчик. По базару как раз проходила старуха, оборванная и в лохмотьях; у нее было остренькое личико, от старости все сморщенное, красные глаза и острый нос крючком чуть не до самого подбородка; она шла, опираясь на длинную клюку, и все же было непонятно, как она передвигается; она ковыляла, хромала, спотыкалась; казалось, ноги у нее на шарнирах и она вот-вот полетит кувырком и спукнется острым носом о мостовую.

Сапожникова жена внимательно оглядела старуху. Уже шестнадцать лет сидела она ежедневно тут на базаре и ни разу еще не видала этой старой

карги. Но она невольно испугалась, когда та заковыляла прямо к ней и остановилась у корзины.

– Вы Ганна, торговка овощами? – спросила старуха пропивным хриплым голосом, все время тряся головой.

– Да, это я, – ответила сапожникова жена, – вам что угодно?

– Посмотрим, посмотрим! Поглядим правку, поглядим правку, есть ли у тебя то, что мне надобно, – ответила старуха, нагнулась к корзинам и стала рыться коричневыми уродливыми руками в корзине с правами; длинными паучьими пальцами хватала она правы, разложенные так красиво и аккуратно, затем подносила одну за другой к длинному носу и обнюхивала со всех сторон. У жены сапожника надрывалось сердце при виде того, как старуха перебирает редкие правы; но она не смела ничего сказать, ведь выбирать товар – право покупателя, да, кроме того, она испытывала какой-то непонятный страх перед этой женщиной. Перерыв всю корзину, та пробормотала: «Дрянь, а не товар, дрянь, а не правы, ничего, что мне надобно; пятьдесят лет тому назад куда лучше было; дрянь, а не товар, дрянь, а не товар!»

Такие речи рассердили Якоба.

– Послушай, старуха, где у тебя совесть? – сердито крикнул он. – Сначала копаешься своими пропивными коричневыми пальцами в прекрасных правах и мнешь их, потом суешь себе под длинный нос, никто, кто это видел, их теперь не возьмет, а потом еще ругаешь наш товар дрянью, а у нас ведь покупает товар самого герцога.

Старуха покосилась на бойкого мальчугана, пропивно хихикнула и прохрипела:

– Так, так, сыночек! Значит, тебе не нравится мой нос, мой красивый длинный нос? погоди, у самого такой посреди лица вырастет и выпянется до самого подбородка. – С этими словами она заковыляла к другой корзине, в

которой лежала капуста. Выбрала самые красивые белые кочаны и давила и жала их так, что они кряхтели, затем кое-как побросала в корзину и опять сказала: «Дрянь, а не повар, дрянь, а не капуста!»

– Не прясси так пропивно головой, – испуганно закричал мальчуган. – Шея-то у тебя не толще капустной кочерыжки, пого и гляди, подломится, а тогда твоя голова полетит прямо в корзину! Где нам тогда найти покупателя на свой товар?

– Так тебе не нравятся тонкие шеи? – хихикая, пробормотала старуха. – Ну так у тебя совсем шеи не будет: голова уйдет в плечи, чтобы как-нибудь не свалиться с щедедушного тельца.

– Не болтайте всякого вздора с мальчуганом, – сказала наконец сапожникова жена, рассердившись, что та все только щупала, разглядывала и обнюхивала, – а ежели вам что надобно, так попоропитесь, а то вы разогнали других покупателей.

– Ладно, будь по-твоему, – воскликнула старуха, злобно взглянув на нее, – я куплю у тебя эти шесть кочанов; но ты видишь, я опираюсь на клюку и не могу ничего нести; позволь твоему сыночку донести мне повар до дому, а я его отблагодарю.

Мальчугану не хотелось идти, и он заплакал, потому что боялся безобразной старухи, но мать строго приказала ему слушаться, так как считала грехом взвалить на старую немощную женщину такую поклажу; хныча, послушался он матери, сложил кочаны в корзину и пошел по базару за старухой.

Дело шло у нее не очень-то быстро, и понадобилось добрых три четверти часа, чтобы дойти до отдаленной части города, где она остановилась перед ветхой хибаркой. Тут она вытащила из кармана старый ржавый крючок, ловко вставила его в замочную скважину, и дверь с громким треском растворилась.

Но как удивился Якоб, когда вошел в дом! Внутри все было великолепно убрано, потолок и стены облицованы мрамором, вещи все из дорого черного дерева с инкрустацией из золота и полированных камней, пол из стекла, и такой гладкий, что мальчуган поскользнулся и упал. А старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и стала насвистывать песенку, которая пронзительно разносилась по всему дому. И сейчас же по лестнице спустились морские свинки; Якобу показалось очень странным, что они ходят прямо на задних лапках, что скорлупки от орехов заменяют им башмаки, что одеты они в человеческую одежду, а на головах носят самые новомодные шляпы.

– Ах вы, мразь негодная... Куда вы девали мои пуфли? – прикрикнула старуха и швырнула в них клюкой, да так, что они завизжали и подскочили. – Долго мне еще здесь стоять?

Они быстро запрыгали вверх по лестнице и вернулись с двумя скорлупами кокосового ореха, обшитыми внутри кожей, и ловко надели их старухе на ноги.

Хромоты и ковыляния как не бывало. Она отбросила клюку и очень быстро заскользила по стеклянному полу, паща за руку Якоба. Наконец старуха остановилась в комнате, в которой было много всякой утвари, так что она, пожалуй, походила на кухню, хотя столы красного дерева и диваны, застланные роскошными коврами, больше подобали парадным апартаментам.

– Садись, сынок, – очень ласково сказала старуха, запихивая его в угол дивана и задвигая столом, чтобы он не мог вылезть. – Садись, человечесьи головы не такие уж легкие, да, не такие уж легкие.

– Что-то я вас, бабушка, не пойму, – воскликнул мальчуган. – Я правда застал, но нес-то я капустные головы, вы их купили у моей матери!

– Ну, это ты ошибаешься, – засмеялась старуха, подняла с корзины крышку и, схватив за вихор, вытащила оттуда человеческую голову.

Мальчуган опешил; от страха он не мог понять, что случилось, но сразу подумал о матери: если прослышат про чужие головы, решил он, то станут, конечно, винить мою мать.

– погоди, я дам тебе что-то в награду за то, что ты такой послушный, – пробормотала старуха, – потерпи минутку, сейчас сварю тебе такого супца, что ты его всю жизнь помнишь будешь.

Она сказала и снова свистнула. Сначала прибежало много морских свинок, одетых по-чужие; на них были повязаны кухонные фартуки, а за пояс заткнуты половники и кухонные ножи; вслед за ними прибежала вприпрыжку толпа белок; ходили они на задних лапках, на них были широкие шаровары, а на голове зеленые бархатные шапочки. Должно быть, это были повара, потому что они очень быстро взбирались вверх по стенам и спускались оттуда со сковородками и мисками, с яйцами и маслом, травами и мукой и несли все это к очагу; а возле то и дело сновала взад и вперед старуха в своих туфлях из скорлупы кокосовых орехов, и мальчуган видел, что она очень старается сварить ему суп повкусней. Теперь огонь запрещал веселей, сковорода задымилась и зашипела, в комнате распространился вкусный запах, а старуха все бегала взад и вперед, и белки и морские свинки вслед за ней, и каждый раз, как она проходила мимо очага, она совала свой длинный нос в котелок. Наконец все закипело и заколопало, от котелка повалил пар, а пена брызнула на огонь. Тогда она сняла котелок, вылила содержимое в серебряную миску и поставила ее перед Якобом.

– Так, сынок, так, – сказала она, – вот покушай супца и получишь все, что тебе так во мне понравилось! Станешь сам искусным поваром, ведь надо же чем-то быть, а вот правки, правки-то тебе ничем не найди; отчего не было ее в корзине у твоей матери?

Мальчуган не понимал как следует, что она говорит, тем усерднее принялся он за суп, уж очень он ему понравился. Мать не раз потчевала его

лакомыми кушаньями, но ничего еще не приходилось ему так по вкусу. Суп был кисло-сладкий и очень наваристый, от него исходил тонкий запах трав и кореньев. Пока он доедал последние капли превосходного яства, морские свинки зажгли арабское куренье, от которого по комнате пошли голубоватые клубы дыма. Клубы эти все сгущались и сгущались и оседали; аромат курения действовал на мальчугана, как дурман; каждый раз, как он приходил в себя, вспоминал, что пора к мапери, и хотел встать, он снова погружался в дремоту, а под конец и вправду заснул на диване у старухи.

Странные сны привиделись мальчику. Ему чудилось, будто старуха сняла с него одежду и облекла его в белчью шкурку. Теперь он мог прыгать и лазить не хуже белки; он познакомился с остальными белками и морскими свинками, народом весьма учтивым и благонравным; вместе с ними нес он службу у старухи. Сначала он допускался только до обязанностей чистильщика сапог, то есть он должен был смазывать маслом и начищать до блеска кокосовые орехи, которые старуха носила вместо башмаков. С этим делом он справлялся ловко, так как в отцовском доме его не раз засаживали за такую работу; приблизительно через год – снилось ему дальше – он был допущен до более тонкой работы: ему приказано было вместе с другими белками ловить пылинки, плясавшие в солнечном луче, а наловив достаточное количество, просеивать их через частое сито. Хозяйка считала солнечные пылинки за самое что ни на есть нежное на свете, а потеряв последние зубы, она не могла жевать как следует, и потому ей пекли хлеб из солнечных пылинок.

Еще через год его перевели в число тех слуг, что собирали питьевую воду для старухи. Не подумайте, что она приказала вырыть колодец или поставить во дворе бочку для дождевой воды; их работа преобладала куда больше искусства: белки, а с ними и Якоб, скорлупками лесных орехов вычерпывала росу из роз – она-то и служила старухе питьевой водой. А старуха пила

весьма много, поэтому водоносам приходилось пуго. Через год его приставили к работе по дому; на нем лежала обязанность держать в чистоте полы, а так как они были стеклянными и на них заметно было даже дыхание, то работа эта была нелегкая. Они перли полы щетками и, привязав к ногам старую суконку, ловко скользили по комнате. На четвертый год он был наконец определен на кухню. Это была почетная должность, до которой допускали только после долгих испытаний. Там Якоб из поваренка дослужился до старшего повара-паштетника и приобрел такой огромный опыт и умение во всем, касающемся поварского искусства, что часто сам себе дивился; все он постиг, всему научился, быстро и вкусно готовил самые замысловатые кушанья, паштеты, в которые входили двести разных приправ, овощные супы из всех существующих на свете травок.

Так протекали на службе у старухи лет семь; и вот как-то раз она собралась уходить, сняла свои кокосовые башмаки, вооружилась корзиной и клюкой, а ему приказала ощипать курочку, нафаршировать травами и, вкусно подрумянив, зажарить к ее приходу. Он приготовил ее по всем правилам поварского искусства. Свернул шею, ошпарил кипятком, ловко ощипал, поскоблил кожу, так что та стала гладкой и нежной, и выпотрошил курочку.

Потом принялся собирать травы для начинки. На этот раз он увидал в кладовой, где хранились травы, стеной шкафчик с приоткрытыми дверцами, которого он раньше не замечал. Любопытствуя узнать, что в нем, подошел он поближе, – и глядь! – там стояло много корзинок, от которых исходил приятный крепкий запах. Он открыл одну и нашел травки совсем особой формы и цвета. Стебель и листья были голубовато-зеленые, а на конце сидел огненно-красный цветочек с желтой каймой; в раздумье разглядывал и нюхал он цветочек, от которого струился тот же крепкий аромат, которым благоухал суп, сваренный ему когда-то старухой. Но запах был так силен, что он чихнул, стал чихать сильнее и наконец совсем расчихался и проснулся.

Он лежал на старухином диване и с удивлением оглядывал комнату. «И привидятся же такие сны, прямо как наяву, — подумал он. — Я мог бы поклясться, что я — жалкая белочка, вожу дружбу с морскими свинками и прочим зверьем и что в то же время я спал искусным поваром. Ну и посмеется же мапущка, когда я ей все это расскажу! Только, пожалуй, она заругает меня, что я заснул у чужих и не помогаю ей на рынке». При этой мысли он поднялся, собираясь уходить; все тело у него еще одеревенело от сна, особенно шея, — он не мог как следует вертеть головой; он даже сам на себя усмехнулся, что он такой сонный, никак не придет в себя и то и дело тыкается носом в шкаф или в стену, а когда быстро обернется, задевает носом о дверной косяк. Белки и морские свинки с визгом бегали вокруг него, словно хотели увязаться за ним; уже стоя на пороге, он позвал их с собой, ведь это были такие славные зверюшки. Но они быстро покапились на своих ореховых скорлупках обратно в дом, и только издали доносился их визг.

Старуха завела его в довольно отдаленную часть города, и он едва выбрался из узких улочек, да к тому же там еще была толчея, потому что, как ему сдавалось, где-то поблизости появился карлик; то и дело слышались крики: «Эй, взгляните-ка на уродца-карлика! Откуда взялся такой карлик? Ну и длинный же у него нос, а голова совсем ушла в плечи, а руки-то какие темные и безобразные!» В другое время он и сам побежал бы за народом, потому что больше всего на свете любил глазеть на великанов и карликов или на необычайные заморские наряды, но сейчас ему надо было торопиться к матери.

Когда он пришел на базар, на него напал страх. Мать сидела еще там, и в корзинке у нее было порядочно повара, значит, он проспал не очень долго, но уже издали она показалась ему очень печальной: она не зазывала покупателей и сидела, подперев голову рукой, а когда он подошел поближе, ему почудилось, будто она бледнее обычного. Он медлил, не зная, как поступить; наконец

собрался с духом, подкрался к ней сзади, ласково положил ей руку на плечо и сказал:

– Мапушка, тебе нездоровится? Ты сердишься на меня?

Женщина обернулась, но тут же отпрянула с криком ужаса.

– Чего тебе от меня надобно, противный карлик! – воскликнула она. – Ступай, ступай прочь! Терпеть не могу глупых шуток!

– Но что с тобой, мапушка? – спросил перепуганный Якоб. – Тебе, верно, неможется, почему ты гонишь прочь своего сына?

– Сказала тебе, ступай своей дорогой! – раздраженно ответила Ганна. – С меня ты, мерзкий урод, своим кривляньем ничего не зарабатываешь.

«Верно, бог лишил ее разума, – в страхе подумал малыш. – Что мне теперь делать, как довести ее до дому?»

– Милая маменька, приди в себя, посмотри на меня хорошенько, – я ведь твой сын, твой Якоб.

– Нет, теперь шутка становится слишком наглой, – крикнула Ганна, обращаясь к соседке, – вы только взгляните на урода-карлика, стоит тут и отпугивает всех покупателей, да еще смеет издеваться над моим горем. Говорит – я твой сын, твой Якоб! Ах он бесстыдник!

Тут всполошились все соседки и принялись ругаться изо всех сил – а рыночные торговки, сами знаете, ругаться горазды – и напали на него за то, что он издевается над несчастьем бедной Ганны, у которой семь лет тому назад украли сынка – писаного красавца, и стали грозиться, что все вместе набросятся на него и исцарапают, если он не уберется подобру-поздорову.

Бедняжка Якоб не знал, что и подумать. Ведь он же, как ему сдавалось, сегодня утром пошел, по обыкновению, с матерью на базар, помог ей разложить фрукты, затем пошел со старухой к ней домой, покушал супцу, вздремнул немножко и теперь вот вернулся на базар, а мать и соседки говорят о семи годах. А его называют мерзким карликом! Что же это такое с

ним приключилось? Когда он понял, что мать и слышать о нем не хочет, на глазах у него выступили слезы, и он печально побрел к лавчонке, где отец целый день чинил башмаки. «Увидим, – думал он, – признает ли он меня; я стану в дверях и заговорю с ним». Подойдя к сапожнику, он спал у двери и заглянул в лавчонку. Хозяин так рьяно прудился над своей работой, что не заметил его; но, случайно взглянув на дверь, он уронил на пол башмак, драпву и шило и в ужасе закричал: «Господи боже мой, да что это такое, что такое!»

– Добрый вечер, хозяин! – сказал малыш, входя в лавку. – Как поживаете?

– Плохо, плохо, господинчик! – ответил отец, к большому удивлению Якоба; выходит, что отец его тоже не знает. – Работа не спорится. Я один и старею, а взять подмастерье не по карману.

– А разве нет у вас сыночка, который бы понемножку помогал вам в работе? – выводывал карлик.

– Был у меня сынок, звали его Якобом, теперь бы он был стапным, ловким двадцатилетним юношей и мог бы здорово подсобить мне. Да, вот это была бы жизнь! Уже в двенадцать лет он был смышленным, умелым мальчишкой и разбирался в моем ремесле, а уж какой красавчик, какой учпивый! Он привлек бы заказчиков, так что скоро я бы уже не чинил башмаки, а только тачал бы новые! Но так уж ведется на свете!

– А где же ваш сын? – дрожащим голосом спросил он отца.

– Бог ведает, – ответил тот, – семь лет тому назад – да, теперь уже с той поры утекло столько времени – его украли у нас на базаре.

– Семь лет тому назад! – в ужасе воскликнул Якоб.

– Да, крохотный мой господинчик, семь лет; как сейчас помню, пришла жена домой, вся в слезах, и, громко рыдая, сказала, что весь день напрасно прождала мальчика; она всех спрашивала, всюду его разыскивала, но так и не нашла сына. Я всегда думал, всегда говорил, что так случится; Якоб был

красивым ребенком, это надо признать, и жена им гордилась, ей льстило, когда его хвалили, и часто она посылала его с овощами и всякой всячиной к знапным господам. Это было не плохо, – каждый раз его щедро одаривали; но я говорил ей: смотри! Город велик, в нем живет много недобрых людей, смотри за Якобом. Как я говорил, так оно и вышло. Приходит как-то раз на базар уродливая старуха, приценивается к фруктам и овощам и покупает под конец столько, что не может сама донести до дому. У жены моей сердце отзывчивое, она отпустила с ней мальчишку – и с тех пор его так и не видали.

– И вы говорите, тому уже семь лет?

– Весною будет семь. Мы объявили о нем, ходили из дома в дом и всюду расспрашивали; многие знали и любили красавчика-мальчика и вместе с нами искали его, – все напрасно. Женщину, купившую овощи, тоже никто не знал, – только одна дряхлая старушонка, прожившая девяносто лет, сказала, что это, пожалуй, злая волшебница Травозная, которая раз в пятьдесят лет приходит в город за всякими закупками.

Так рассказывал отец Якоба и при этом громко стучал по башмаку и обеими руками выпягивал драпву. Маленькому человечку постепенно стало ясно, что с ним случилось; он не во сне, а наяву семь лет прослужил в белках у злой волшебницы. Сердце разрывалось от гнева и горя. Старуха украла у него семь лет юности, а что получил он взамен? Навострился наводить глянец на туфли из кокосовых орехов да держать в чистоте комнату с зеркальным подом? Научился у морских свинок тайнам поварского искусства?

Он простоял некоторое время, раздумывая над своей участью; в конце концов отец спросил его:

– Может быть, вам угодно мне что-либо заказать, молодой человек? Пару новых туфель или, – прибавил он, усмехаясь, – может быть, футляр себе на нос?

– Почему вам дался мой нос? – спросил Якоб. – К чему мне фуляр на него?

– Ну, кому что нравится, – возразил башмачник, – но должен сказать, будь у меня такой страшный нос, я бы заказал на него фуляр из розовой лакированной кожи. Вот взгляните, у меня как раз под рукой хороший лоскут; правда, на фуляр пойдет не меньше локтя, но зато как бы это вас уберегло, крохотный господинчик: я уверен, вы натыкаетесь на всякий дверной косяк, на всякую повозку, когда хотите уступить ей дорогу.

Крохотуля онемел от страха; он попрогал свой нос – нос был толстый, и в длину не меньше двух пядей! Значит, старуха переменила ему наружность, потому-то мать и не узнала его, потому-то и обзывали его уродцем-карликом!

– Хозяин! – обратился он, чуть не плача, к сапожнику. – Нет ли у вас под руками зеркала, чтобы мне поглядеться?

– Сударь, – серьезно ответил отец, – не такая наружность досталась вам, чтобы ею любоваться, и незачем вам то и дело глядеться в зеркало. От этого следует отвыкать: у вас такая привычка особенно смешна.

– Ах, дайте мне взглянуть в зеркало, – воскликнул карлик, – уж конечно, дело тут не в любовании собой!

– Оставьте меня в покое; нет у меня зеркала; у жены был осколок, да не знаю, куда она его запряпала. А уж ежели вам обязательно нужно поглядеться в зеркало, то через улицу живет Урбан, брадобрей, у него есть зеркало в два раза больше вашей головы; поглядитесь в него, а пока будьте здоровы!

С этими словами отец осторожненько выпроводил его из лавки, запер за ним дверь и снова сел за работу. А Якоб, совсем убитый, перешел через улицу к брадобрею Урбану, которого помнил еще с прежних времен.

– Доброе утро, Урбан, – сказал он, – я пришел попросить вас о любезности, будьте так добры и позвольте мне поглядеться у вас в зеркало.

– Судовольствием, вон оно там спойт, – воскликнул, смеясь, брадобрей, и его посетители, ожидавшие, когда он подстрижет им бороду, тоже громко расхохотались.

– Вы и впрямь красавчик, стройный и складный, шея – как у лебедя, руки – как у королевы, а другого такого хорошенького вздернутого носика и не сыщешь. Пожалуй, вы слишком им любуетесь, это верно; ну, ладно, поглядитесь, пусть не говорят про меня, будто я из зависти не позволил вам поглядеться у себя в зеркало!

Так сказал брадобрей, и вся цирюльня задрожала от хохота. Между тем карлик подошел к зеркалу и взглянул в него. Слезы выступили у него на глазах. «Да, милая маменька, – подумал он, – ты, конечно, не могла узнать своего Якоба. В ту счастливую пору, когда ты хвасталась мною перед людьми, наружность у меня была иная!» Сейчас глаза у него спали маленькими, как у свиньи, нос чудовищно вырос и навис надо ртом и подбородком, шеи будто и в помине не было, потому что голова ушла глубоко в плечи и ворочать ею из стороны в сторону ему было очень больно. Ростом он был все тот же, что и семь лет тому назад, когда ему было только двенадцать; но в то время как все прочие от двенадцати до двадцати растут в высоту, он рос в ширину, спина и грудь у него сильно выпятились и смахивали на небольшой, но туго набитый мешок. Толстое пуловище сидело на слабеньких ножках, подгибавшихся под его тяжестью, зато руки были очень длинные, той же длины, что у взрослого мужчины, и болтались, как плети, кисти рук огрубели и потемнели, пальцы вытянулись по-паучьи, и, расправив их как следует, он мог, не нагибаясь, достать до полу. Вот каким стал маленький Якоб, – он превратился в уродливого карлика.

Теперь он припомнил то утро, когда старуха подошла на базаре к его матери. Всем, что он тогда осудил в ней – длинным носом, безобразными

пальцами, – всем наделила она его, кроме длинной прясущейся шеи, шею она начисто упразднила.

– Ну что, мой принц, вдоволь нагяделись? – спросил брадобрей, подходя к нему и насмешливо его рассматривая. – Право, такой смешной наружности при всем желании и во сне не увидишь. Но у меня есть для вас предложение, крохотный человечек. Ко мне в цирюльню захаживает, правда, порядочно народу, но за последнее время не так много, как то было бы желательно. Причина тому та, что мой сосед, брадобрей Шаум, разыскал где-то великана, который привлекает к нему посетителей. Ну, чтобы вырасти великаном, большого умения не надобно, а вот стать человечком вроде вас, да, – это потруднее. Поступайте ко мне на службу, крохотный человечек, я поселю вас у себя, буду кормить, поить, одевать, обувать, – всего у вас будет вволю; за это вы должны стоять по утрам у меня перед дверью и зазывать ко мне народ, взбивать мыльную пену, подавать посетителям полотенце, и, уверяю вас, дела у нас пойдут неплохо; у меня посетителей будет больше, чем у соседа с великаном, а вам всякий охотно даст на чай.

Карлик был в душе возмущен предложением служить приманкой для брадобрея. Но ему пришлось стерпеть это оскорбление. Поэтому он совершенно спокойно ответил брадобрею, что не располагает временем для таких услуг, и побрел дальше.

Хотя злая старуха и испортила ему наружность, но нанести вред его разуму она не смогла – это он отлично чувствовал, потому что думал и чувствовал он не так, как семь лет тому назад, – нет, за это время он стал умнее, рассудительнее; его печалила не утрата былой красоты, не теперешнее его уродство, а то, что отец, словно собаку, прогнал его от своего порога.

Поэтому он решил еще раз попытать счастья у матери.

Он подошел к ней на базаре и попросил спокойно выслушать его. Он напомнил ей тот день, когда ушел со старухой, напомнил разные случаи из

своего детства, потом рассказал, как семь лет прослужил в образе белки у колдуньи и в кого она его превратила за то, что он ее тогда осуждал.

Сапожникова жена не знала, что и думать. Все, что он рассказал о своем детстве, так на самом деле и было, но когда он стал уверять, будто в течение семи лет был белкой, она промолвила:

– Ну, этого быть не может, да и волшебниц не бывает. – И, посмотрев на уродца-карлика, она возненавидела его и не могла поверить, что это ее сын. В конце концов она сочла за лучшее поговорить с мужем. Она собрала корзины и велела ему идти вместе с ней. Так и пришли они к лавчонке сапожника.

– Послушай, – сказала она ему, – вот этот человек утверждает, будто он наш потерянный Якоб. Он мне все рассказал, как семь лет тому назад его увела от нас и заколдовала злая волшебница.

– Ах, так! – в гневе воскликнул сапожник. – Вот что он тебе рассказал? Ну, подожди же ты у меня, негодник! С час тому назад я сам все ему рассказал, а он отправился морочить тебя! Так тебя заколдовали, сыночек? Подожди же, вот я тебя расколдую. – С этими словами он схватил связку ремней, которые как раз нарезал, подскочил к человечку и так вытянул его по высокому горбу и длинным рукам, что тот закричал от боли и с плачем убежал прочь.

В том городе, как, впрочем, и везде, мало сердобольных людей, готовых помочь бедному человеку, особенно если на его счет можно позабавиться.

Потому-то и не удалось бедняжке карлику за весь день поесть и попить, а когда стемнело, ему пришлось заночевать на церковной паперти, хотя она и была твердая и холодная.

Когда на следующее утро его разбудили первые лучи солнца, он серьезно задумался, чем ему жить, раз отец с матерью его прогнали. Чтобы служить вывеской брадобрею, он был слишком горд; подражаться в шуты и показываться за деньги он не хотел. Как жить? Тут ему пришло в голову, что, в бытность свою белкой, он сильно преуспел в поварском искусстве; не без

основания полагал он, что может потягаться с любым поваром; он решил использовать свое поварское искусство.

Как только улицы оживились и утро окончательно вступило в свои права, он вошел в церковь и помолился. Затем пустился в путь. Герцог, владетель той страны, – о, господин, – был известный объедала и лакомка, любил сладко покушать и выписывал поваров со всех частей света. К его-то дворцу и отправился крохотуля. У внешних ворот привратники спросили, что ему надобно, и принялись всячески попешаться над ним; он же потребовал обер-гоф-повара. Смеясь, повели они его через внешние дворы, и всюду, где он появлялся, слуги оставляли работу, глазели на него, громко хохотали и присоединялись к ним, так что под конец по лестнице дворца шествовала процессия слуг всякого рода; конюхи отбросили свои скребницы, скороходы бежали со всех ног, слуги, приставленные к коврам, позабыли выколачивать ковры, – все толкались и спешили; поднялась такая давка, словно к воротам подступил враг, в воздухе стоял крик: «Карлик, карлик! Видали карлика?»

Тут в дверях появился смотритель дворца, лицо у него было сердитое, а в руках он держал огромный бич.

– Побойтесь бога, собаки проклятые! Чего расшумелись! Разве не знаете, что герцог изволит еще почивать? – И при этих словах он размахнулся бичом и весьма неласково прошелся им по спинам конюхов и привратников.

– Господин, – закричали они, – разве вы не видите? Мы привели карлика, такого карлика, какого вы и не видывали.

Заметив человека, смотритель дворца приложил все старания, чтобы не рассмеяться, ведь он боялся, как бы смех не повредил его достоинству.

Поэтому он разогнал бичом толпу слуг, а человека повел в дом и спросил, чего ему надобно. Когда же услышал, что тот добивается обер-гоф-повара, он возразил:

– Ты, сыночек, ошибаешься, тебе нужен я, смотритель дворца, ты собираешься поступить в придворные карлики к герцогу, не так ли?

– Нет, господин! – ответил карлик. – Я умелый повар, сведущий во всяких редкостных яствах, соблаговолите опвести меня к обер-гоф-повару, может быть, мое искусство ему пригодится.

– Как угодно, крохотуля, но ты легкомысленный человек. На кухню захотел! Если ты поступишь в придворные карлики, работать тебе не придется, есть и пить будешь всласть, одежду носить богатую. Увидим, навряд ли у тебя хватит умения, чтобы стать придворным поваром герцога, а для поваренка ты слишком хорош. – С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в покои обер-гоф-повара герцогской кухни.

– Государь мой, – сказал карлик и поклонился так низко, что коснулся носом пола. – Не пребудет ли вам искусный повар?

Обер-гоф-повар оглядел его с головы до пят, затем громко расхохотался.

– Как, ты повар? – воскликнул он. – Так, по-твоему, очаг у нас такой низкий, что ты сможешь заглянуть в котелок, став на цыпочки и как можно сильнее вытянув шею? Ах ты, козявочка! Тот, кто послал тебя наниматься ко мне в повара, посмеялся над тобой. – Так сказал обер-гоф-повар и громко расхохотался, а за ним захохотали и смотритель дворца, и все слуги, бывшие в комнате.

Но карлик не смутился.

– Не обеднеет такой дом, где всего вдоволь, от двух-трех яичек, чупочки сиропа и вина, муки и пряностей, – сказал он. – Дозвольте мне изготовить лакомое кушанье, предоставьте все, для того потребное, и я тут

же у вас на глазах его соспяпаю, вот тогда вы скажете; «Он с полным правом может быть поваром».

Такие и подобные им речи вел человек, и странное впечатление производили его сверкающие глазки, качавшийся из стороны в сторону длинный нос и движения тоненьких паучьих пальцев, сопровождавшие его слова.

– Так и быть! – воскликнул заведующий кухней и взял под руку смотрителя дворца. – Так и быть, согласен, шутки ради; идемте на кухню.

Они прошли по залам и галереям и, наконец, добрались до кухни. Это был обширный покой, замечательно устроенный: в двадцати очагах постоянно пылал огонь, посреди бежал прозрачный ручей, служивший также садком для рыб; в шкафах из мрамора и редких сортов дерева стояли запасы, которые всегда должны быть под рукой, а по правую и по левую сторону находилось десять зал, где было припасено все, что только знали вкусного и лакомого во всех странах Франкистана и даже на Востоке. Кухонная челядь сновала взад и вперед, звенела кастрюлями и сковородками, управлялась с вилками и шумовками; но когда на кухню пришел обер-гоф-повар, все замерли на месте, и было только слышно, как трещит огонь и журчит ручеек.

– Что сегодня заказал на завтрак наш повелитель? – спросил обер-гоф-повар старого повара, великого искусника в изготовлении завтраков.

– Герцог соизволили заказать датский суп с красными гамбургскими фрикадельками!

– Хорошо, – продолжал обер-гоф-повар. – Ты слышал, что угодно откушать нашему повелителю? Дерзнешь ли ты изготовить эти замысловатые яства? С фрикадельками тебе нипочем не справишься, – их приготовление наш секрет.

– Нет ничего легче, – к общему удивлению, ответил карлик (в бытность свою белкой он не раз готовил эти кушанья), – нет ничего легче,

выдайте мне для супа такие-то и такие-то травы, такие-то и такие пряности, кабаньего сала, кореньев и яиц; а для фрикаделек, – сказал он тихо, так, чтобы его слышали только обер-гоф-повар и повар, приставленный к завтракам, – для фрикаделек мне пребудетя различного сорта мясо, немножко вина, утиный жир, имбирь и некая правка, которая зовется «утехой для желудка».

– Клянусь святым Бенедиктом! У какого волшебника ты обучался? – с удивлением воскликнул повар. – Ты назвал все до капельки, а про правку, что зовется «утехой для желудка», мы и сами не слышали, – она, должно быть, придает особо приятный вкус. Ах, ты – чудо-повар!

– Этого я никак не ожидал, – сказал обер-гоф-повар. – Ипак, приступим к испытанию: дать ему все, чего он пребудет, посуду и все прочее, и пусть спрягает завтрак.

Как он приказал, так и сделали, и принесли все, что он просил; но тут оказалось, что карлик едва мог достать носом до очага. Поэтому придвинули два стула, положили на них мраморную доску и предложили чудо-человечку показать свое искусство. Повар, поварята, слуги и прочая челядь окружили его широким кольцом, смотрели на него и дивились, как быстро и ловко он управляется, как чисто и красиво все готовит. Покончив с приготовлениями, он приказал поставить оба котелка на огонь и кипятить до тех пор, пока он не скажет; затем он принялся считать: раз, два, три и так далее и, сосчитав до пятисот, крикнул: «Хватит!» Горшки сняли с огня, и карлик попросил обер-гоф-повара отведать.

Гоф-повар повелел поваренку подать ему золотую ложку, ополоснул ее в ручье и передал обер-гоф-повару; тот с торжественным видом подошел к очагу, зачерпнул, отведал кушанья, закатил глаза, прищелкнул от удовольствия языком и промолвил:

– Восхипительно, жизнью герцога клянусь – восхипительно! Не угодно ли вам поже проглотить ложечку, господин смотритель дворца?

Тот поклонился, взял ложку, отведал кушанья и не мог опомниться от удовольствия и радости.

– Вы умелый повар, дорогой мой повар по герцогским завтракам, но, при всем моем уважении к вашему искусству, должен сказать, что ни суп, ни гамбургские фрикадельки никогда не удавались вам столь замечательно!

Теперь попробовал и герцогский повар по завтракам, затем он почтительно пожал карлику руку и сказал:

– Да, человек, ты мастер своего дела, аправка «утеха для желудка» придает всему совершенно особую прелесть.

Тут в кухню вошел герцогский камердинер и возвестил, что его господин требует завтрак. Кушанья понесли герцогу в серебряной посуде, а обер-гоф-повар повел карлика к себе и начал с ним беседовать. Но не прошло даже столько времени, сколько надобно, чтобы прочитывать «Pater noster»¹ (это франкская молитва, о повелитель мой, и она вдвое короче молитвы правоверных), как пришел посланец и позвал обер-гоф-повара к герцогу. Он быстро переоделся в парадное одеяние и последовал за посланным.

Герцог, казалось, был очень доволен. Он скушал все, что ему было подано, и как раз утирал усы.

– Послушай, заведующий моей кухней, – сказал он, – до сего дня я всегда бывал очень доволен твоими поварами, но скажи, кто приготовил завтрак сегодня? С тех пор как я сижу на престоле опцов, я еще ни разу не едал такого вкусного; доложи, как зовут этого повара, и мы даруем ему в награду несколько дукапов.

– Господин мой! Это удивительная история, – ответил обер-гоф-повар и рассказал, как сегодня рано поутру привели к нему карлика, который во что бы то ни стало хотел стать поваром, и про все, что случилось потом.

¹ «Pater noster» - Отче наш (лат.).

Герцог очень удивился, призвал карлика и спросил его, кто он и откуда. Бедный Якоб не мог, разумеется, сказать, что был заколдован и служил в виде белки. Но он не погрешил против истины, поведав, что остался без отца с матерью, а готовить обучился у одной старухи. Герцог не стал его расспрашивать, а предпочел позабавиться необыкновенной наружностью своего нового повара.

– Если хочешь остаться у меня, – сказал он, – я прикажу ежегодно выдавать тебе пятьдесят дукатов, нарядное платье и сверх того две пары штанов. А ты будешь обязан ежедневно самолично стряпать мне завтрак, указывать поварам, как приготовить обед, и вообще заниматься моим столом.

Каждый у меня во дворце получает какое-нибудь прозвище, ты будешь зваться «Носом» и будешь возведен в чин младшего гоф-повара.

Карлик Нос пал ниц перед могущественным герцогом франкской земли, облобызал ему ноги и обещал служить верой и правдой.

Итак, на первое время человек приспособился и с честью стал выполнять свои обязанности. И можно сказать, что герцог сделался совсем другим человеком, с тех пор как карлик Нос поселился у него в доме. Прежде он часто изволил привередничать, и в голову поварам лепели миски и блюда, которые ему подавали, – даже самому обер-гоф-повару запустил он, разгневавшись, жесткой пережаренной пелячьей ногой прямо в лоб с такой силой, что пот свалился и три дня пролежал в постели. Правда, герцог обычно испугал то, что напворил в запальчивости, несколькими пригоршнями дукатов, и все же повара всегда подавали ему кушанья с оглядкой да с опаской. С тех пор как карлик поселился у него в доме, все как по волшебству изменилось. Герцог кушал вместо трех пять раз на день, чтобы вдосталь насладиться искусством самого маленького из своих слуг, и все же никогда у него на лице не появлялось недовольной гримасы. Наоборот, все

казалось ему новым и отличным на вкус; он стал ласковым и обходительным и жирел с каждым днем.

Часто во время обеда приказывал он позвать обер-гоф-повара и карлика Носа, сажал одного от себя по правую, другого по левую руку и собственными пальцами клал им в рот лакомые кусочки, милость, которую оба умели весьма ценить.

Карлику дивился весь город. У старшего заведующего герцогской кухней испрашивали позволения поглядеть, как готовит карлик, а некоторым особенно знатным вельможам удалось выпросить у герцога разрешения для своих слуг пользоваться на кухне уроками карлика, что давало пому немалые доходы, ведь каждый вельможа платил полдуката в день. А чтобы не портить хорошего настроения остальным поварам и не вызывать в них зависти, Нос отдавал им деньги, которые платили ему господа за обучение своих поваров.

Так прожил Нос почти два года внешне в довольстве и почете, и только мысль о родителях печалила его. Так он жил, пока не случилось следующего чудесного приключения. Карлик Нос умел выбрать повар, и покупки его были всегда удачны. Поэтому, если только позволяло время, на базар за птицей и овощами он ходил самолично. Как-то утром пошел он в гусиный ряд поискать жирных, откормленных гусей, которые были по вкусу его господину. Уже несколько раз прошелся он взад и вперед и осмотрел весь рынок. Здесь его появление не вызывало хохота и насмешек, – напротив того, он внушал всем глубокое уважение. Все знали, что это знаменитый придворный повар герцога, и каждая торговка гусями бывала счастлива, когда он поворачивал нос в ее сторону.

Вдруг он увидел в самом конце ряда в уголку женщину, поже торговавшую гусями, но она не выхваляла свой товар по примеру прочих и не зазывала покупателей. Он подошел, пощупал гусей и попробовал их на вес. Ему были нужны как раз такие, и он купил трех вместе с клеткой, взвалил ее на

свои широкие плечи и двинулся в обратный путь. Тут ему показалось странным, что только два гуся гоготали и кричали по-гусиному, а претий сидел смиренно и печально и вздыхал и охал по-человечьи. «Гусыня-то занемогла, – подумал он, – надо поспешить прикончить и зажарить ее».

Но гусыня ответила ему явственно и громко:

Ну-ка,
Только уколи меня,
Мигом ущипну тебя.
Если же шею мне свернешь,
Долго сам не проживешь.

Карлик Нос в испуге поставил наземь клетку, а гусыня поглядела на него выразительными, умными глазами и вздохнула.

– Ну и дела! – воскликнул Нос. – Ваша милость гусыня умеют разговаривать? Вот уж не подумал бы. Но не извольте беспокоиться! Знания жизни у нас достаточно, и такую редкостную птицу мы не прикончим. Но готов побиться об заклад, вы не всегда изволили носить это оперенье. В свое время я тоже был жалкой белкой.

– Ты прав, – ответила гусыня, – я родилась не в этой презренной оболочке. Ах, мне, Мими, дочери великого чародея Вептербока, не пели у колыбели, что я кончу жизнь на герцогской кухне!

– Не извольте беспокоиться, душенька Мими, – утешал карлик. – Верьте, я честный человек, и, покуда я младший гоф-повар его светлости, никто не посмеет свернуть вашей милости шею. В собственных своих покоях отведаю я вашей милости закупок, корма будете кушать вдосталь, свободное время я буду посвящать беседе с вами, а всей прочей кухонной челяди скажу,

будто откармливаю для герцога гусыню особыми правами, и при первом же случае отпущу вашу милость на волю.

Гусыня поблагодарила его со слезами на глазах, карлик же сделал так, как обещал: зарезал двух гусей, а для Мими соорудил отдельный сарайчик под тем предлогом, что собирается особым образом откормить ее для герцога. Он и не давал ей обычного гусиного корма, а питал печеньем и сладкими блюдами. Как только у него выдавалось свободное время, шел он к ней разговорить ее поску. Они рассказывали друг другу свои приключения, и Нос узнал, что гусыня была дочерью волшебника Ветпербока, живущего на острове Готланде. Он поссорился со старой феей, та своими кознями и коварством взяла над ним верх и из местни превратила его дочь в гусыню и перенесла сюда. Когда карлик Нос также поведал ей свою историю, она промолвила:

– Нельзя сказать, чтобы я была несведущей в таких вещах. Отец наставил нас с сестрами, насколько это было в его власти. Из рассказа о ссоре у корзины с правами, о моем внезапном превращении, когда ты понюхал правку, а также из отдельных слов старухи, которые ты мне передал, ясно, что ты околдован при посредстве прав, поэтому, если ты опыщешь правку, о которой думала старуха во время колдовства, то чары будут с тебя сняты.

Это, конечно, не могло послужить большим утешением для карлика: где было ему разыскать ту правку? Все же он поблагодарил ее и почерпнул в ее словах некоторую надежду.

Об эту же пору посетил герцога соседний владетельный князь, его друг.

Посему герцог призвал к себе карлика Носа и сказал:

– Пришло время доказать, что ты мастер своего дела и служишь мне верой и правдой. Князь, мой гость, как известно, кушает лучше всех, кроме меня; он большой знаток изысканной кухни и мудрый правитель. Позаботься же, чтобы ежедневно мой стол был уставлен яствами, которые каждый раз удивляли бы его все больше и больше. При этом, под страхом моей немилости,

не могли, покуда он здесь, два раза подавать одно и то же блюдо. Зато разрешаю тебе пребывать от моего казначея все, что тебе угодно. Бери даже золото и алмазы, буде тебе понадобится поджарить их в сале. Я соглашусь лучше стать бедняком, чем краснеть перед ним.

Так сказал герцог. Карлик же учтиво поклонился и молвил:

– Будь по слову твоему, о господин! Видит бог, я сделаю так, чтобы все пришлось по вкусу этому королю обедал.

Повар-крохотуля пустил в ход все свое искусство. Он не жалел сокровищ своего господина, но еще меньше щадил самого себя. Весь день хлопотал он у огня, окутанный облаком дыма, под сводами кухни неумолчно звенел его голос, ибо, как истый властелин, распорядился он поварятами и младшими поварами...

– Повелитель, я мог бы последовать примеру алеппских погонщиков верблюдов, которые в тех сказках, что рассказывают путникам, повествуют о том, как вкусно едят их герои. Целый час перечисляют они все яства, что тем подаются, и так возбуждают аппетит и даже сильнейший голод у своих слушателей, что те невольно развязывают свои припасы, устраивают трапезу и щедро кормят погонщиков верблюдов; но я поступлю не так.

Чужеземный владетельный князь две недели гостил у герцога и жил в роскоши и веселье. Они кушали не меньше пяти раз на дню, и герцог был доволен искусством карлика, потому что по лицу гостя видел, как тот доволен. Но на пятнадцатый день случилось герцогу позвать карлика к столу, он представил его своему гостю и спросил, доволен ли тот карликом.

– Ты замечательный повар, – ответил чужеземный властитель, – и понимаешь, что такое кушать прилично. За все время, что я здесь, ты ни разу не подал одного и того же блюда и готовил все весьма изрядно. Но скажи, почему не подаешь ты так долго короля кушаний – паштет Сузерен?

Карлик очень перепугался, потому что сейчас в первый раз услышал об этом короле паштетов, но он собрался с духом и сказал:

– О господин! Я надеялся, что еще долго будешь ты освещать своим присутствием нашу столицу, поэтому и не поропился. Ибо чем мог повар ознаменовать последний день твоего пребывания, если не королем всех паштетов?

– Так? – смеясь, возразил герцог. – А если говорить обо мне, ты, верно, ждал моей смерти, дабы ознаменовать так этот день? Ведь и мне ты поже никогда не подавал этого паштета. По придумай чем-нибудь иным ознаменовать день расставания: этот паштет ты должен подать к столу уже завтра.

– Будь по слову твоему, господин мой! – ответил карлик и вышел.

Но вышел он нерадостный, чувствуя, что настал день его позора и несчастья: он не знал, как изготовить паштет. Поэтому он отправился к себе и стал плакаться на судьбу. Тут подошла к нему гусыня Мими, которой разрешалось ходить у него по комнате, и спросила, о чем он пужит.

– Уйми свои слезы, – сказала она, услышав о паштете Сузерен. – У моего отца это блюдо часто подавалось на стол, и я приблизительно знаю, что для него пребудется. Возьми того и другого, столько-то и столько-то, и если это и не совсем то, что, собственно, нужно, не беда, – вряд ли уж у нашего господина и его гостя столь тонкий вкус.

Так говорила Мими. Карлик же подпрыгнул от радости, благословил тот день, когда купил гусыню, и принялся за изготовление короля паштетов.

Сначала он сделал его на пробу, и – гляди-ка! – паштет вышел на славу, обер-гоф-повар, которому он предложил его отведать, снова стал расхваливать не знающее равных искусство Носа.

На следующий день запек он паштет в большей форме, украсил цветочными гирляндами и еще теплым, прямо с огня, отослал к столу. Сам же

надел свою лучшую праздничную одежду и пошел в столовую. Как раз когда он входил, дворецкий разрезал паштет на ломти и подавал их на серебряной лопатке герцогу и его гостю. Герцог откусил с удовольствием большой кусок, возвел глаза к потолку и, прожевав, сказал:

– Ах, ах, ах, поистине, правильно называют этот паштет королем паштетов; но зато и мой карлик – король поваров; не так ли, дорогой друг?

Гость взял в рот несколько кусочков, тщательно распробовал и прожевал их, улыбаясь при этом насмешливо и загадочно.

– Кушанье приготовлено весьма умело, – ответил он, отодвигая тарелку, – но все-таки это не настоящий Сузерен, как я, собственно, и думал.

Тогда герцог гневно наморщил лоб и покраснел от стыда.

– Паршивая собака! – воскликнул он. – Как смел ты причинить мне, твоему господину, такое огорчение? Верно, хочешь, чтобы в наказание за плохую спряжку я повелел снести тебе голову?

– О господин мой! Ради всего святого, я приготовил это кушанье по всем правилам искусства, невозможно, чтобы чего-либо в нем недоставало, – дрожа, сказал карлик.

– Ты лжешь, мошенник! – возразил герцог и ногой отпихнул его. – Будь так, гость не сказал бы, что чего-то недостает. Я прикажу изрубить тебя самого на кусочки и запечь в паштете.

– Сжальтесь! – воскликнул человек, на коленях подполз к гостю и обнял его ноги. – Скажите, чего недостает этому кушанью и почему оно вам не по вкусу? Не дайте мне умереть из-за горсти муки и мяса!

– Это тебе мало поможет, милый мой Нос, – ответил, смеясь, чужеземец, – я уже вчера знал, что тебе не приготовить этого кушанья так, как это делает мой повар. Знай – тут недостает некоейправки, о которой в вашем краю и не слыхивали,правки Вкусночихи; без нее в паштете нет остроты, и твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я.

Тут франкистанский герцог пришел в ярость.

– И все же я буду есть его в должном виде, – воскликнул он, сверкая глазами, – ибо, клянусь своей герцогской честью, завтра я представляю вам либо паштет по вашему вкусу, либо голову этого негодника, торчащую на пике у ворот моего дворца. Ступай прочь, паршивая собака, еще раз даю тебе супки сроку!

Так воскликнул герцог; карлик же, плача, побрел к себе в спальню и принялся жаловаться гусыне на судьбу и на то, что ему не миновать смерти, ведь он никогда не слышал об этой правке.

– В этой беде я могу тебе помочь, – сказала она. – Отец научил меня распознавать все травы. Правда, в другое время тебе не миновать бы смерти, но, по счастью, сейчас как раз новолуние, а об эту пору и цветет та правка. Скажи мне одно, – распут ли поблизости от дворца старые каштановые деревья?

– О да, – с облегчением ответил Нос, – у озера в двухстах шагах от дома их целая купа; но почему нужны именно эти деревья?

– Только у корней старых каштанов цветет эта правка, – сказала Мими, – поэтому нечего терять время попусту, поищем то, что тебе надобно: бери меня под мышку, а на воле спустишь наземь, – я поищу.

Он сделал, как ему было сказано, и вместе с ней направился к воротам дворца. Но там привратник преградил ему путь алебардой и сказал:

– Дорогой мой Нос, миновали твои золотые денечки: тебя не велено выпускать из дворца, на этот счет мне дано строжайшее предписание.

– Но в сад-то мне можно? – возразил карлик. – Будь так добр, пошли одного из твоих подручных к смотрителю дворца, пусть спросит, можно ли мне пойти в сад поискать правы?

Привратник так и сделал, и разрешение было получено, ведь сад обнесен был высокой стеной, даже и думать нечего было улизнуть отсюда. Когда же

Нос с гусыней Мими вышли на волю, он бережно спустил ее наземь, и она быстро побежала впереди него к озеру, где росли каштаны. Он следовал за ней, и сердце у него щемило, это же была его последняя, его единственная надежда; он твердо решил: если гусыня не отыщет нужной правки, лучше уж ему броситься в озеро, чем положить голову на плаху. Но тщетно искала гусыня: она бродила от дерева к дереву, перебирала клювом все травинки, но ничего не находила, и от жалости и страха она принялась плакать, ведь уже вечерело и различать предметы становилось все труднее.

Тут взоры карлика упали на ту сторону озера, и он крикнул:

– Погляди-ка, погляди, по ту сторону озера тоже растет развесистое старое дерево, – пойдём туда и поищем, может быть, там цветет мое счастье.

Гусыня запрыгала и полетела впереди него, а он пустился за ней следом во всю прыть своих коротких ножек: каштановое дерево отбрасывало большую тень, да и вообще уже стемнело, – почти ничего нельзя было разобрать; но вдруг гусыня остановилась, захлопала от радости крыльями, затем быстро сунула голову в высокую траву, сорвала что-то, грациозно подала в клюве удивленному Носу и сказала:

– Вот эта правка, и растет она здесь в изобилии, так что ты никогда не будешь терпеть в ней недостатка.

Карлик в раздумье разглядывал правку; от нее исходил пряный запах, который невольно напомнил ему сцену его превращения; стебли и листья были голубовато-зеленого цвета, а цветок огненно-красный с желтой каемкой.

– Слава богу! – наконец воскликнул он. – Вот так чудо! Знай же, по моему, эта та самая трава, что превратила меня из белки в мерзкого уroda. Не попытать ли мне счастья?

– погоди, – взмолилась гусыня. – Возьми с собой горсточку этой правки, вернемся к тебе, собери деньги и все твое добро, а тогда уж испытаем силу правы.

Так они и сделали и отправились обратно к нему в комнату, и сердце у карлика громко колотилось от нетерпения. Он завязал в узелок пятьдесят – шестьдесят скопленных им дукапов, одежду и обувь.

– Если господу богу угодно, сейчас я разделаюсь с этой обузой, – сказал он, сунул нос глубоко в правы и вдохнул их аромат.

Тут он почувствовал, как у него выпягиваются и прещат все суставы, как из плеч подымается голова; он покосился на нос и увидел, что тот все укорачивается и укорачивается, почувствовал, как выпрямляются спина и грудь, как удлиняются ноги.

Гусыня смотрела и удивлялась.

– Ну и большой же ты, ну и красивый! – воскликнула она. – Слава богу, и следов не осталось от того, кем ты был!

Якоб очень этому обрадовался, сложил руки и помолился. Но при всей своей радости он не позабыл, сколь многим обязан гусыне Мими; хотя сердце и влекло его к родителям, благодарность превозмогла этого желание, и он сказал:

– Кому, как не тебе, обязан я тем, что мне даровано снова стать самим собой? Без тебя мне ни почем бы не сыскать этой правки, и, значить, я навсегда сохранил бы тот мерзкий облик, а может быть, даже сложил бы голову на плахе. Хорошо же, я не останусь в долгу. Я доставлю тебя к твоему отцу; он сведущ во всяком колдовстве и без пруда снимет с тебя чары.

Гусыня заплакала от радости и согласилась на его предложение. Якобу с гусыней удалось незнанными выбраться из дворца, и они пустились в путь к берегу моря – на родину Мими...

...О чем поведашь мне дальше? О том, что они счастливо закончили свой путь; что Веттербок снял чары с дочери и, щедро оделив Якоба, отпустил его домой; что тот вернулся в свой родной город и что родители охотно признали в красивом юноше своего пропавшего сына; что на подарки, принесенные от Веттербока, он купил себе лавку и зажил счастливо и припеваючи?

Расскажу только, что после того как Якоб ушел из герцогского дворца, там поднялась страшная тревога: когда герцог на следующий день пожелал выполнить свою клятву и снести карлику голову, в случае если он не разыскал нужных прав, – того и след простыл; гость же утверждал, будто герцог тайком помог ему улизнуть, чтобы не лишиться своего лучшего повара, и обвинил его в нарушении клятвы. Отсюда возникла великая война между обоими властителями, хорошо известная в истории под названием «Травяная война»; было дано не одно сражение, но в конце концов, все-таки заключили мир, и этот мир называют у нас «Паштетным миром», ибо на пиршестве, в ознаменование примирения, повар владетельного князя изготовил Сузерен – короля паштетов, который пришелся герцогу весьма по вкусу.

Так часто незначительнейшие события приводят к крупным последствиям; вот, о господин, история карлика Носа.

Так рассказывал невольник из Франкистана. Когда он окончил, шейх Али-Бану велел подать ему и остальным рабам фрукты, дабы они подкрепились, и, пока они ели, беседовал со своими друзьями. А юноши, которых привел сюда старик, всячески расхваливали шейха, его дом и все убранство.

– Поистине, нет времяпрепровождения приятнее, чем слушать рассказчика, – сказал молодой писец. – Я мог бы целыми днями сидеть, поджав ноги, опершись локтем о подушки, подперев лоб рукою, а в другой руке, если б

это было возможно, держа большой кальян шейха, и слушать, и слушать, – такой представляю я себе жизнь в садах Магомета.

– Пока вы молоды и сильны, – сказал старик, – не верю, чтобы вас на самом деле прельщала праздность. Но я согласен: слушая сказку, испытываешь своеобразное очарование. Несмотря на то, что я стар, а мне стукнуло семьдесят шесть лет, несмотря на то, что за свою жизнь я уже многого понаслушался, все же я никогда не пройду мимо, если на углу улицы сидит рассказчик, а вокруг собралось кольцо слушателей, я тоже подсяду к ним и послушаю. Сам переживаешь все приключения, о которых ведется рассказ, наяву видишь людей, духов, фей и весь окружающий их волшебный чудесный мир, который не повстречаешь в обыденной жизни, а потом, когда ты остался один, тебе есть что вспомнить, как запасливому путнику в пустыне есть чем утолить голод.

– Я никогда не задумывался, – вступил в разговор другой юноша, – над тем, в чем, собственно, кроется очарование этих историй. Но я испытываю то же, что и вы. Еще ребенком, когда я капризничал, меня унимали сказкой.

Вначале мне было безразлично, о чем идет речь, только не прерывали бы рассказа, только были бы всякие приключения; мне не надоедало слушать басни, которые придумали мудрые люди, вложив в них крупицу собственной мудрости, – басни о лисе и глупой вороне, о лисе и волке, не один десяток рассказов о льве и прочем зверье. Когда я подрос и стал чаще бывать на людях, коротеньких побасенок мне уже было мало: теперь мне хотелось историй подлиннее, повествующих о людях с необычной судьбой.

– Да, мне тоже помнится та пора, – прервал его один из его друзей. – Любовь к рассказам всякого рода привил нам именно ты. Один ваш невольник умел нарасказать столько всякой всячины, сколько может наговорить погонщик верблюдов за путь от Мекки до Медины; покончив с работой, он усаживался на лужайке перед домом, и мы до тех пор приставали к нему, пока

он не начинал свои рассказы, которые пянулись и пянулись, и так до темноты.

– И разве тогда перед нами не открывалась новая, неведомая страна, – опозвался писец, – царство гениев и фей, где в изобилии растут редкостные деревья, где стоят богатые дворцы из смарагдов и рубинов, населенные невольниками-исполинами, которые являются по первому зову, стоит только повернуть несколько раз кольцо, или потереть чудесную лампу, или вымолвить Соломоново слово, и подносят роскошные яства в золотых чашах? Мы невольно переселялись в эту страну, вместе с Синдбадом ходили в чудесные плавания, вместе с Гаруном аль-Рашидом, мудрым повелителем правоверных, бродили вечером по улицам, мы знали его визиря Джафара, как самих себя, – словом, мы жили в сказках, подобно тому как ночью живут в снах, и не было для нас за весь день лучшей поры, чем те вечера, когда мы собирались на лужайке и старый невольник заводил свой рассказ. Но скажи нам, старец, в чем, собственно, причина того, что тогда мы столь охотно слушали сказки, что еще и поныне нет для нас времяпрепровождения приятней? В чем, собственно, кроется великое очарование сказки?

– Сейчас скажу, – ответил старик. – Ум человеческий еще легче и подвижней воды, принимающей любую форму и постепенно проникающей в самые плотные предметы. Он легок и волен, как воздух, и, как воздух, делается тем легче и чище, чем выше от земли он парит. Поэтому в каждом человеке живет стремление вознестись над повседневностью и легче и вольнее выплыть в горних сферах, хотя бы во сне. Сами вы, мой молодой друг, сказали: «Мы жили в тех рассказах, мы думали и чувствовали вместе с теми людьми», – отсюда и то очарование, которое они имели для вас. Внимая рассказам раба, вымыслу, придуманному другим, вы сами творили вместе с ним. Вы не задерживались на окружающих предметах, на обычных своих мыслях, – нет, вы все переживали: это с вами самими случались все чудеса, – такое участие

принимали вы в том, о ком шел рассказ. Так ваш ум возносился по нити рассказа над существующим, казавшимся вам не столь прекрасным, не столь привлекательным, так ваш дух витал вольней и свободнее в неведомых горных сферах; сказка становилась для вас явью, или, если угодно, явь становилась сказкой, ибо вы пворили и жили в сказке.

– Я вас не вполне понимаю, – возразил молодой купец, – но вы правы, говоря, что мы жили в сказке или сказка жила в нас. Я помню еще ту блаженную пору; все свободное время мы грезили наяву: мы воображали, будто нас прибило к пустынным, необитаемым островам, совещались, что предпринять, чем поддержать нашу жизнь, и часто сооружали мы хижинки в диких ивовых зарослях, из жалких плодов готовили себе скудную трапезу, хотя в сотне шагов отсюда, дома, мы могли получить все самое лучшее, – да, была пора, когда мы ожидали появления доброй феи или чудесного гнома, которые подошли бы к нам и сказали: «Сейчас разверзнется земля, соблаговолите тогда сойти в мой хрустальный дворец и откушать тех яств, что подадут вам мои слуги – марпышки».

Юноши рассмеялись, но согласились, что приятель их говорит сущую правду.

– Еще и поныне, – сказал один из них, – еще и поныне подпадаю я иногда прежним чарам; так, например, я сильно рассердился бы на брата за глупую шутку, если бы он ворвался ко мне и сказал: «Слыхал о несчастье с соседом, толстым булочником? Он повздорил с волшебником, и тот из мести превратил его в медведя; и теперь он лежит у себя в комнате и отчаянно ревет». Я б рассердился и обозвал его вралем. Но совсем другое дело, если бы мне поведали, что толстый сосед предпринял далекое странствие в чужие, неведомые края, там попался в руки к волшебнику, а тот обратил его в медведя. Я постепенно перенесся бы в рассказ, странствовал бы вместе с

соседом, переживал бы чудеса, и меня бы не очень удивило, если бы он оказался засунутым в шкуру и ходил бы на четвереньках.

– И все же, – сказал старик, – существуют весьма занимательные рассказы, где не появляются ни феи, ни волшебники, ни хрустальные замки, ни духи, подающие редкостные яства, ни птица Рок, ни волшебный конь – это рассказы другого рода, не те, что обычно зовутся сказками.

– Что вы под этим подразумеваете? Объясните получше. Другого рода, чем сказки? – спросили юноши.

– Я думаю, надо делать известное различие между сказкой и теми рассказами, которые обычно зовутся новеллами. Если я скажу, что собираюсь рассказать вам сказку, то вы заранее будете рассчитывать на приключение, далекое от повседневной жизни и происходящее в мире, природа которого отличается от земной. Или, говоря ясней, в сказке вы сможете рассчитывать на появление других существ, а не только смертных людей; в судьбу героя, о котором повествует сказка, вмешиваются неведомые силы, феи и волшебники, духи и повелители духов; весь рассказ облекается в необычную, чудесную форму и выглядит примерно так, как наши тканые ковры и рисунки наших лучших мастеров, которые франки зовут арабесками. Правоверному мусульманину запрещено греховно воссоздавать в рисунках и красках человека, творение Аллаха; поэтому на этих тканях мы видим замысловато переплетающиеся деревья и ветви с человеческими головами, людей, переходящих в куст или рыбу, – словом, фигуры, напоминающие обычную жизнь и все же необычные; вы меня понимаете?

– Мне кажется, я догадываюсь, – сказал писец. – Но продолжайте.

– Такова сказка: чудесная, необычная, неожиданная; так как она далека от повседневной жизни, то ее часто переносят в чужие края или в далекую, давно минувшую пору. У каждой страны, у каждого народа есть такие сказки – у пурок и у персов, у китайцев и монголов, даже в стране франков, как

говорят, много сказок, по крайней мере, так мне рассказывал один ученый гяур; но они не столь хороши, как наши, так как прекрасных фей, обитающих в великолепных дворцах, у них заменяют колдуньи, которых они зовут ведьмами, злобные уродливые существа, живущие в жалких лачугах и вскачь несущиеся через туман, верхом на помеле, вместо того чтобы плыть по небесной лазури в раковине, запряженной грифонами. У них водятся и гномы, и подземные духи, – крохотные нескладные уродцы, которые любят играть злые шутки. Таковы сказки. Совсем иного рода рассказы, которые обычно зовутся новеллами. Они мирно свершаются на земле, происходят в обыденной жизни, и чудесна в них только запутанная судьба героя, который богатеет или беднеет, складывается удачно или неудачно не при помощи волшебства, заклятия или проделок фей, как это бывает в сказках, а благодаря самому себе или странному сплетению обстоятельств.

– Правильно, – подхватил один из юношей. – Такие истории, без всякой примеси чудесного, встречаются и в прекрасных рассказах Шахразады, известных под названием «Тысячи и одной ночи». Большинство приключений султана Гаруна аль-Рашида и его визиря такого рода. Переодевшись, покидают они дворец и сталкиваются с тем или иным необычным явлением, в дальнейшем разрешающимся вполне естественно.

– И все же вам придется признать, – продолжал старик, – что эти новеллы – не худшая часть «Тысячи и одной ночи». А между тем как отличаются они от сказок о принце Бирибинкере, или о трех одноглазых дервишах, или о рыбаке, вытащившем из моря кубышку, припечатанную печатью Соломона! Но в конечном счете очарование сказки и новеллы истекает из одного основного источника: мы переживаем нечто своеобразное, необычное. В сказках это необычное заключается во вмешательстве чудесного и волшебного в обыденную жизнь человека; в

новеллах же все случается, правда, по естественным законам, но поразительно необычным образом.

– Странно, – воскликнул писец, – странно, что естественный ход вещей в новеллах привлекает нас так же, как и сверхъестественное в сказках! В чем тут дело?

– Дело тут в изображении отдельного человека, – ответил старик, – в сказке такое нагромождение чудесного, человек так мало действует по собственной воле, что отдельные образы и характеры могут быть обрисованы только бегло. Иное в обычных рассказах, где самое важное и привлекательное – то искусство, с каким переданы речь и поступки каждого, сообразно его характеру.

– Поистине, вы правы! – ответил молодой купец. – Я ни разу не удосужился подумать об этом как следует, смотрел и слушал, ни на чем не останавливаясь, порой забавляясь, порой скучая, – не знаю, собственно, почему. Но вы дайте нам ключ к загадке, пробный камень, дабы мы сделали пробу и вынесли правильное суждение.

– Всегда поступайте так, – ответил старик, – и наслаждение для вас возрастет, когда вы научитесь размышлять над тем, что услышали. Но глядите, вон подымается следующий рассказчик.

Так оно и было. И другой раб начал:

Молодой англичанин

Господин мой! Я немец по рождению и прожил в ваших краях слишком мало, вот почему я не могу потешить вас персидской сказкой или занимательной историей про султанов и визирей. А потому я прошу позволения рассказать о том, что случилось у меня на родине, – может быть, это вас тоже позабавит. К сожалению, наши истории не всегда столь

благородны, как ваши, в них рассказывается не о султанах или наших королях, не о визирях и пашах, которые у нас зовутся министрами юстиции и финансов, а также тайными советниками или еще как-нибудь в этом роде, нет, обычно они протекают в скромной бюргерской среде, если только не повествуют о солдатах.

В южной части Германии расположен городок Грюнвизель, где я родился и вырос. Все такие городишки на одно лицо. В центре небольшая базарная площадь с колодцем, тут же старенькая ратуша, вокруг базарной площади – дома мирового судьи и именитых купцов, а на двух-трех узких улочках обитают остальные жители. Все друг друга знают, всякому известно, где что творится, и когда у пастора, бургомистра или врача к столу подадут лишнее блюдо, то в обеденную пору это известно уже всем. Вечерком дамы ходят друг к другу с визитами – как принято говорить у нас – и обсуждают за чашкой черного кофе и куском сладкого пирога это великое событие, а в результате выясняют, что пастор, вероятно, купил билет в лотерею и выиграл безбожно много денег, что бургомистра «подмазали» или что доктор получил от аптекаря несколько золотых за то, чтобы впредь выписывал рецепты подороже.

Вы можете себе представить, о господин, какой неприятностью для города с таким устоявшимся укладом жизни, как Грюнвизель, был приезд человека, о котором никто не знал, откуда он, на какие средства живет, что ему надобно. Бургомистр, правда, видел его паспорт – бумажку, которую у нас всякий обязан иметь при себе.

– Неужто у вас на улицах так беспокойно, – прервал невольника шейх, – что вам необходимо иметь при себе фирман² от своего султана, дабы внушать почтение разбойникам?

– Нет, господин, – ответил топ, – этими бумажками не отпугнешь злоумышленника; заведено же это для порядка, чтобы всякий знал, с кем

² Фирман – указ.

имеет дело. Так вот, бургомистр изучил паспорт и за чашкой кофе у доктора высказал свое мнение: хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюнвизель, все же за этим что-то кроется, вид у приезжего подозрительный. Бургомистр пользовался в городе большим уважением, – чему ж удивляться, если с тех пор на приезжего стали смотреть косо, как на лицо подозрительное! А образ его жизни не мог разубедить моих сограждан.

Приезжий снял за несколько золотых дом, до того пустовавший, привез пуда целую фуру со странной утварью – печками, горнами, большими пиглями и зажил там в полном одиночестве. Он даже спрягал на себя сам, у него не бывало ни души, за исключением одного грюнвизельского старичка, на обязанностях которого лежала закупка хлеба, мяса и овощей. Но и тому разрешалось входить только в сени, и там приезжий принимал от него покупки.

Я был десятилетним мальчуганом, когда приезжий появился у нас в городе, но и сейчас еще, словно это произошло только вчера, помню то возбуждение, какое произвел в городишке этот человек. После обеда он не ходил, по примеру прочих мужчин, в кегельбан, по вечерам не ходил в гостиницу, чтобы, как другие, выкурить трубку и потолковать о том, что пишут в газетах. Напрасно бургомистр, мировой судья, доктор и пастор по очереди приглашали его к себе отобедать или выкупать чашку кофе; он всякий раз отговаривался под тем или иным предлогом. Поэтому одни считали его ненормальным, другие – евреем, претъи упорно и настойчиво твердили, что он чародей и волшебник. Мне минуло восемнадцать, двадцать лет – и все еще этого человека называли у нас «приезжим».

Вот как-то случилось, что в город к нам пришли люди с заморскими зверями. Такие бродячие комедианты, с верблюдом, умеющим кланяться, пляшущим медведем, попешными, наряженными по-человечьи собаками и обезьянами, обученными разным штукам, проходят обычно по городу,

останавливаются на перекрестках и площадях, извлекают из дудочки и барабана весьма неблагозвучную музыку, под которую их труппа пляшет и прыгает, а затем собирают по домам деньги. Труппа, появившаяся в Грюнвизеле, на этот раз отличалась огромным орангутангом, почти в рост человека, ходившим на задних лапах и выпорявшим всякие забавные кунштюки.

Собачья и обезьянья труппа очутилась также и перед домом приезжего господина. Вначале, когда раздались звуки барабана и дудки, он сердито глянул через попускневшее от времени окно. Но затем подобрел, высунулся, к общему удивлению, из окна и от души смеялся над проделками орангутанга. Он даже заплатил за развлечение такой крупной серебряной монетой, что весь город судачил потом об этом.

Наутро звериная труппа пронулась в путь. Верблюд нес множество корзинок, в которых удобно сидели собаки и обезьяны, а поводьри и большая обезьяна шли следом за верблюдом. Несколько часов спустя после того, как они вышли за городские ворота, приезжий послал на почтовую станцию и, к великому удивлению станционного зрителя, спешно потребовал карету и почтовых лошадей, выехал через те же ворота и двинулся по тому же тракту, что и звери. Весь городишко был вне себя от досады, так как никто не знал толком, куда он отправился.

Было уже темно, когда приезжий подъехал к тем же городским воротам. В карете сидел еще кто-то, надвинув шляпу на самый лоб, а уши и рот повязав шелковым платком. Писарь при заставе почел своей обязанностью заговорить с новым приезжим и попросить у него паспорт; но тот ответил весьма неучтиво, буркнув что-то на совершенно непонятном языке.

– Это мой племянник, – вежливо сказал приезжий писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет, – это мой племянник, и пока что он плохо

понимает по-немецки. Он сейчас как раз выругался на своем родном диалекте по поводу задержки.

– Ну, ежели это племянник вашей милости, – ответил писарь, – то пусть себе едет без паспорта. Верно, он будет проживать у вас?

– Разумеется, – сказал приезжий, – и, должно быть, пробудет здесь сравнительно долго.

У писаря не было больше возражений, и приезжий с племянником въехали в городок. Впрочем, бургомистр, а с ним и весь город досадовали на писаря.

Мог бы, по крайности, запомнить несколько слов, сказанных на языке племянника. Тогда хоть узнали бы, уроженцами какой страны были они с дядей. Писарь уверял, будто он говорил не по-французски и не по-итальянски, а скорее по-английски, речь его звучала как-то растянуто, и, если он не ошибается, молодой человек сказал: *Goddam!*³ Так писарь и сам выпутался из беды, и молодому человеку помог приобрести национальность. Теперь в городишке только и разговору было что о молодом англичанине.

Но молодой англичанин тоже не показывался ни в кегельбане, ни в пивном погребке; зато он, правда другим способом, давал много пищи людским полкам. Так, часто случалось, что в обычно столь тихом доме приезжего подымались страшные крики и возня, воп почему люди, задравши головы, толпились перед домом. Молодой англичанин, в красном фраке и зеленых штанах, взлохмаченный и страшный, метался с невероятной быстротой по всем комнатам от окна к окну, а дядюшка-приезжий в красном шлафроке гонялся за ним с арапником; чаще всего он промахивался, но несколько раз любопытным, собравшимся перед домом, почудилось, будто он задел юношу, они слышали жалобные, испуганные стоны и щелканье кнута. Дамы нашего городка приняли близко к сердцу суровое обращение с молодым человеком и в конце концов упростили бургомистра вмешаться в это дело. Он послал

³ *Goddam!* - Английское ругательство, обозначающее: проклятие.

приезжему господину записку, в которой в довольно резких выражениях порицал его за суровое обращение с племянником и грозил, буде такие сцены не прекратятся и впредь, взять молодого человека под свою защиту.

Но каково было удивление бургомистра, когда, впервые за десять лет, у него в доме появился приезжий господин! Он оправдывал свое поведение особыми обязанностями, возложенными на него родителями юноши, которые поручили ему его воспитание; в общем, это умный, смысленый мальчик, уверял он, но языки даются ему с большим трудом; он же от всей души желает научить племянника бегло говорить по-немецки, дабы взять на себя смелость впоследствии ввести его в грюнвизельское общество; между тем язык этот он усваивает с таким трудом, что часто не остается ничего другого как выпороть его надлежащим образом. Бургомистр был вполне удовлетворен его объяснениями и вечером в погребке рассказывал, что редко встречал человека столь образованного и учтивого, как приезжий. «Жаль только, что он так мало бывает в обществе, — прибавлял он, — но как только его племянник научится немножко говорить по-немецки, он, я полагаю, будет часто посещать мои журфиксы».

Этого было достаточно, чтобы общество в корне изменило свое мнение. О приезде теперь отзывались как о человеке учтивом, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени подымался ужасающий крик. «Он преподает племяннику немецкий язык», — говорили грюнвизельцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца обучение немецкому языку как будто закончилось: дядюшка принялся теперь за следующую ступень. В городе проживал хилый старик-француз, обучавший молодежь танцам. Приезжий призвал его и предложил давать уроки его племяннику. Он намекнул, что хотя тот и очень понятлив, но, что касается танцев, несколько своеволен; он уже брал уроки у другого танцмейстера, и тот обучил его таким рискованным антраша, что

выступать с ними в обществе неудобно; племянник же именно поэтому считает себя искусным танцором, хотя в его танцах нет даже отдаленнейшего сходства с вальсом или галопом (это, о господин мой, танцы, которые приняты у меня на родине), нет даже сходства с экосезом или франсезом. Впрочем, приезжий обещал по палеру за урок, и танцмейстер с радостью согласился взять на себя обучение своевольного юноши.

Француз уверял потом «по секрету», что не видел ничего более необычного, чем эти уроки танцев. Племянник, довольно высокий, стройный юноша, пожалуй, только несколько коротконогий, всегда являлся на урок тщательно завитой, в красном фраке, широких зеленых штанах и белых лайковых перчатках. Говорил он мало и с иностранным акцентом; сначала бывал довольно благонравен и понятлив, но затем вдруг принимался гримасничать и прыгать, откалывал лихие пируэты и выкидывал такие антраша, что танцмейстер терял голову; когда же он пробовал его образумить, тот стаскивал с ног изящные пупфи, запуская ими французу прямо в голову и принимался прыгать по всей комнате на четвереньках. На шум прибежал из спальни старик дядя в широком красном шлафроке, в золотом бумажном колпаке на голове и не очень ласково гладил племянника арапником по спине. Тогда племянник раздражался громким воем, забирался на столы и шкафы, даже на оконные карнизы и говорил на чужом, непонятном языке. Но старик в красном шлафроке не сдавался, стаскивал его за ногу, лупил что есть мочи и пряжкой стягивал ему попуше шейный плапок, после чего племянник каждый раз становился благонравным и чинным, и урок танцев продолжался без новых помех.

Когда же танцмейстер настолько подвинул своего питомца, что можно было пригласить на урок музыканта, племянник будто переродился. Подрядили скрипача из городского оркестра и усадили его на стол. Танцмейстер изображал даму, для чего дядюшка нарядил его в шелковую юбку

и индийскую шаль; племянник приглашал его и принимался с ним танцевать и вальсировать; а танцором он был неупомимым, рьяным, он не выпускал учителя из своих длинных рук, сколько бы топ ни охал и ни кричал, и танцевать приходилось до упаду или до тех пор, пока рука музыканта не отказывалась водить смычком. Танцмейстера эти уроки чуть не свели в могилу, но талер, который он аккуратно получал каждый раз в уплату, и хорошее вино, которым потчевал его приезжий, делали свое дело, и он снова приходил на урок, хотя накануне и зарекался переступить порог безлюдного дома.

Но грюнвизельцы смотрели на это дело совсем не так, как француз. Они считали, что у молодого человека много данных для светского образа жизни, а дамы испытывали большой недостаток в кавалерах и посему радовались, что к зимнему сезону получают такого лихого танцора.

Однажды утром служанки, возвратясь с базара, сообщили своим господам о необычайном происшествии. Перед безлюдным домом стояла роскошная зеркальная карета, запряженная рысаками, и лакей в пышной ливрее держал дверцу. Тут распахнулись двери безлюдного дома, и двое нарядных господ вышли оппуда: один был старик приезжий, а другой, по всей вероятности, молодой человек, с таким трудом научившийся немецкому языку и такой рьяный танцор. Оба сели в карету, лакей вскочил на запяпки, и карета – вы только представьте себе! – покапала прямо к бургомистрову дому.

Хозяйки, выслушав рассказ своих служанок, мигом сорвали с себя не отличавшиеся безупречной чистотой кухонные передники и чепцы и привели себя в надлежащий вид. «Совершенно ясно, – говорили они своим домочадцам, которые суетились, наводя порядок в гостиной, одновременно служившей и для других целей, – совершенно ясно, что приезжий решил вывезти

племянника в свет. Старый дурак за десять лет ни разу не счел нужным побывать у нас в доме; но ради племянника, как говорят, молодого человека с большим шармом, ему можно это простить». Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей, чтобы те при приезжих вели себя чинно, держались прямо и пользовались более изысканной речью, чем обычно. И городские умницы угадали, – всех по очереди объезжали дядюшка с племянником, стараясь снискать благоволение каждого семейства.

Всюду только и разговору было что о них, и все жалели, что не приобрели уже раньше столь приятного знакомства. Старик держал себя с достоинством и умно, правда, разговаривая, он улыбался, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьезно или нет, а разговаривал он о погоде, о нашей местности, о приятности в летнюю пору погребка на горе, – говорил так разумно и рассудительно, что грюнвизельцы были очарованы. О племяннике и говорить нечего! Он очаровал всех, завоевал все сердца. Правда, что касается наружности, с лица его нельзя было назвать красивым; подбородок и особенно нижняя челюсть слишком выдавались вперед, и цвет лица был чересчур смугл, да еще он подчас корчил уморительные рожи, закрывал глаза и скалил зубы, но все же, по общему мнению, черты лица у него были оригинальные и интересные. Трудно было себе представить более подвижную, более ловкую фигуру. Правда, костюм как-то странно сидел на нем, но все ему замечательно шло; он с чрезвычайной живостью бегал по комнате, присаживался то на софу, то на кресло, выпягивал ноги; но то, что у другого молодого человека сочли бы нарушением хорошего тона и в высшей степени вульгарным, в данном случае признавали гениальностью. «Он англичанин, – говорили окружающие, – а они все таковы: англичанин может растянуться на канapé и заснуть в присутствии десяти дам, которым некуда сесть, так что они принуждены стоять около него; на англичанина за это нельзя сердиться». А старика дядю он слушался беспрекословно: достапочно

было строгого взгляда, чтобы образумить его, когда он пускался вприпрыжку по комнате или втягивал ноги на стул, что делал очень охотно. Да и как можно было сердиться на него, когда дядя в каждом доме говорил хозяйке: «Племянник мой еще несколько дик и невоспитан, но я крепко надеюсь на общество: оно его отшлифует и образует как следует, и именно вашим заботам я поручаю его особенно настойательно».

Итак, племянника вывезли в свет. И в этот и в последующие дни в Грюнвизеле только и разговору было что об этом событии. Но дядюшка на том не остановился; казалось, он совершенно переменял и образ мыслей, и строй жизни. После полудня отправлялся он вместе с племянником в погребок, что на горе, где пила пиво и развлекалась кеглями грюнвизельская знать.

Племянник играл мастерски – он никогда не сшибал меньше пяти или шести кеглей зараз; правда, время от времени на него как будто что накатывало: вдруг ни с того ни с сего сорвется вслед за шаром и учинит среди кеглей сущий погром, или, сшибив короля, спанет на голову, не щадя своей изящно завитой прически, и дрыгает в воздухе ногами; в другой раз не успеешь и оглянуться, как он уже сидит на крыше проезжающей мимо кареты и строит оппуда рожи; проедет немножко, спрыгнет и снова вернется к обществу.

Всякий раз, как разыгрывались такие сцены, дядюшка усердно извинялся перед бургомистром и прочими за озорство племянника; они же смеялись, приписывали все его молодости, уверяли, будто и сами в его возрасте отличались таким же проворством, и обожали «молодого повесу», как они его называли.

Случалось им и порядком на него сердиться, однако они не решались выражать свое недовольство, ведь молодой англичанин был за образец начитанного и разумного юноши. По вечерам старик с племянником хаживали

и в местную гостиницу «У золотого оленя». Хотя племянник был еще совсем молодым человеком, держал он себя стариком, усаживался за столик, надевал невероятные очки, выпаскивал длинную трубку, закуривал и дымил пуще всех.

А когда разговор заходил о том, что пишут в газетах, о войне и мире, и доктор высказывал одно мнение, бургомистр другое, а прочие поражались столь глубоким политическим познаниям, то племяннику могло вдруг прийти в голову проявить совершенно противоположное мнение; он ударял по столу рукой, с которой никогда не снимал перчатки, и самым недвусмысленным образом давал понять бургомистру и доктору, что они ничего толком не смыслят, что он слышал совсем иное и понимает в этих делах гораздо больше.

Затем он выражал на странном ломаном немецком языке свое мнение, которое, к великой досаде бургомистра, все признавали совершенно правильным, ведь он же англичанин, как же ему не знать все гораздо лучше прочих.

Когда же затем бургомистр и доктор, разозлясь, но не решаясь вслух высказать свое недовольство, садились за партию в шахматы, то племянник придвигался к ним поближе, заглядывал сквозь свои большие очки бургомистру через плечо и крипиковал топ или иной ход, говорил доктору, что ему надлежало бы пойти так-то и так-то, и оба игрока впайне приходили в ярость. Когда же затем бургомистр ворчливо предлагал ему сыграть с ним партию, чтобы по всем правилам объявить ему мат, ибо он считал себя вторым Филидором⁴, то дядя попуке стягивал племяннику шейный платок, после чего топ становился послушным и чинным и делал бургомистру мат.

До тех пор грюнвизельцы чуть не каждый вечер развлекались картами, по полкрейцеру за партию; племянник счел эту ставку мизерной, стал ставить кроненталеры и дукаты, утверждал, будто никто не играет столь искусно, как он, но затем обычно проигрывал невероятные суммы, что снова примиряло с ним разобидевшихся было партнеров. И они ни капли не

⁴ Филидор (1726–1795) – французский композитор и шахматист.

совестились, забирая у него столько денег. «Ведь он же англичанин, а значит, богат от рождения», – говорили они и клали дукаты себе в карман.

Итак, племянник приезжего господина в скором времени стал пользоваться незаурядным уважением в городе и во всей округе. Спарожилы не запомнили, чтобы в Грюнвизеле когда-нибудь видели подобного молодого человека; он был самым оригинальным явлением на свете. Нельзя сказать, чтобы племянник чему-либо обучался, – разве только танцам. Латынь и греческий были для него, как принято говорить, кипайской грамотой. Однажды во время какой-то игры в доме у бургомистра ему пришлось написать несколько слов, и оказалось, что он не умеет подписать даже собственную фамилию; в географии делал он самые удивительные ошибки: ему ничего не стоило пересадить немецкий город во Францию или датский в Польшу; он ничего не читал, ничему не учился, и пастор часто задумчиво качал головой, сокрушаясь о неведении молодого человека; тем не менее все, что он делал и говорил, находили прекрасным, а он был таким наглецом, что всегда считал себя правым и все свои речи заканчивал словами: «Я это лучше знаю!»

Так подошла зима, вот тут-то слава племянника расцвела еще пуще.

Любую компанию без него считали скучной; когда разумный человек высказывал свое мнение, все зевали; когда же племянник изрекал на плохом немецком языке нелепейший вздор, все развешивали уши. Теперь выяснилось, что этот во всех отношениях совершенный молодой человек вдобавок еще и поэт: редкий вечер не выпаскивал он из кармана листа бумаги и не прочитывал обществу сонета. Правда, нашлось несколько человек, утверждавших, будто одни его стихотворения плохи и бессмысленны, а другие они уже где-то читали в напечатанном виде; но племянник, несколько не смущаясь, продолжал декламировать, а затем обращал общее внимание на красоту своих стихов, и всякий раз имел шумный успех.

Но настоящим триумфом были для него грюнвизельские балы. Он не знал устали в танцах, никто не танцевал так быстро, как он, никто не проделывал столь рискованных и необыкновенно грациозных антраша. При этом дядя всегда одевал его чрезвычайно нарядно и по последней моде, и хотя костюм обычно сидел на нем как-то нескладно, все находили, что одет он прекрасно и очень к лицу. Правда, остальные кавалеры были несколько обижены заведенным им новым порядком. Прежде бал открывал бургомистр собственной персоной, а затем распоряжаться танцами предоставлялось молодым людям из лучших семей; но с появлением приезжего молодого человека все изменилось. Без дальних слов брал он любую подвернувшуюся ему даму за руку, становился с ней в первую пару, делал все, как ему заблагорассудится, и оказывался хозяином, распорядителем и королем бала. Дамы находили такую манеру превосходной и весьма приятной, мужчины не смели возражать, и племянник оставался в том сане, в который возвел себя сам.

Казалось, дядюшке балы доставляли особое удовольствие: он глаз не спускал с племянника и все время тихонько посмеивался, а когда гости спешили к нему, рассыпаясь в похвалах учтивому, благовоспитанному юноше, он не мог совладать с собой от радости, разражался веселым смехом и вел себя как безумный. Грюнвизельцы приписывали такие бурные проявления веселости его большой любви к племяннику и находили это вполне естественным. Но время от времени дяде приходилось прибегать к отеческому внушению: молодой человек во время изящнейшего танца мог ни с того ни с сего одним прыжком очутиться на помосте, где восседал городской оркестр, вырвать контрабас из рук капельмейстера и отчаянно запиликавать на нем; или он вдруг переворачивался и танцевал на руках, а ногами дрыгал в воздухе.

Тогда дядя обычно отводил его в сторону, строго журил, туже стягивал ему шейный платок, и племянник опять становился шелковым.

Так вел себя племянник в обществе и на балах. Но, как это обычно бывает, дурные привычки прививаются куда легче хороших, и в новой оригинальной моде, как бы она ни была нелепа, всегда есть что-то притягательное для молодежи, еще не задумывающейся над собой и жизнью. Так обстояло дело и в Грюнвизеле. Увидев, что племянника не бранят, а даже превозносят его нелепые манеры, неучливый смех и болтовню, за грубые ответы старшим, что это даже находят гениальным, молодые люди решили: «Стать таким гениальным повесой не трудно». Прежде это были прилежные, дельные юноши; теперь они думали: «К чему ученость, когда невежество дает куда больше?» Они отложили в сторону книги и стали слоняться по улицам и площадям. Прежде они были учтивы и вежливы со всеми, дожидались, пока их не спросят, и отвечали пристойно и скромно, теперь они становились на одну доску со взрослыми, болтали вместе с ними, высказывали свое мнение, смеялись в лицо самому бургомистру, когда он что-нибудь говорил, и утверждали, будто знают все лучше других.

Прежде грюнвизельская молодежь терпеть не могла грубости и бессмысленного времяпрепровождения. Теперь молодые люди распевали озорные песни, курили огромные трубки и шатались по кабакам. Они купили себе также большие очки, хотя видели отлично, нацепили их на нос, и считали себя взрослыми, потому что теперь уподобились хваленому племяннику. Дома и в гостях они растягивались в сапогах и шпорах на канаве, раскачивались на стуле в хорошем обществе или, подперев кулаками щеки, ставили локти на стол, что представляло весьма приятную картинку. Напрасно твердили им матери и друзья, сколь все это глупо, сколь неприлично, — они же ссылались на блестящий пример племянника. Напрасно доказывали им, что племяннику как англичанину приходится прощать

некоторую грубость, свойственную его нации, грюнвизельская молодежь утверждала, что не меньше любого англичанина имеет право быть невоспитанной на гениальный манер, – коротко говоря, жалко было смотреть, как, под влиянием дурного примера, совершенно исчезли в Грюнвизеле добрые нравы и обычаи.

Но недолго радовалась молодежь такой грубой, разгульной жизни.

Следующее событие сразу все изменило. Зимние увеселения должны были закончиться большим концертом, исполненным частично музыкантами городского оркестра, частично искусными грюнвизельскими любителями музыки. Бургомистр превосходно играл на виолончели, а доктор на фаготе, аптекарь, хотя и не обладал настоящим дарованием, играл на флейте, несколько грюнвизельских девиц разучили арии, – словом, программа была составлена прекрасно. Но, по мнению приезжего, концерту такого рода, хотя и превосходному, явно недостаёт дуэта, потому что в каждом порядочном концерте необходим дуэт.

Эти слова вызвали некоторое замешательство: правда, дочь бургомистра пела, как соловей, но где раздобыть кавалера, который мог спеть с ней дуэт? В конце концов вспомнили о старом органисте, в свое время певшем роскошным басом, но приезжий уверял, будто все эти хлопоты излишни, – его племянник превосходно поет. Все были поражены вновь открывшимся замечательным талантом юноши; ему пришлось спеть кое-что для пробы, и, если не считать некоторых странных повадок, которые сочли за английские, пел он, как ангел. Итак, спешно разучили дуэт, и вот наконец настал вечер, во время которого грюнвизельцам предстояло усладить свой слух концертом.

К сожалению, дядюшка заболел и не мог присутствовать при триумфе своего племянника, но он передал бургомистру, навестившему его за час до концерта, кое-какие распоряжения относительно своего питомца.

– Племянник мой – добрая душа, – сказал он, – но время от времени в голову ему приходят странные мысли, и тогда он ведет себя нелепо; именно поэтому я весьма сожалею, что не могу присутствовать на концерте, меня-то он побаивается, и сам знает почему! К чести его, я должен сказать, что эти проказы не духовного, а скорее физического порядка, они свойственны его природе; не будете ли вы, господин бургомистр, так любезны, если ему ни с того ни с сего взбредет на ум усесться на нопный пюпипр, или во что бы то ни стало провести смычком по контрабасу, или еще что-нибудь в том же роде, не сообразовали ли вы несколько ослабить его шейный платок, а если и это не поможет, снимите платок вовсе. Вот увидите, каким он сразу станет послушным и чинным!

Бургомистр поблагодарил болящего за доверие и обещал, если понадобится, поступить по его совету.

Зал был переполнен, на концерт явились не только грюнвизельцы, гости съехались со всей округи. Охотники, пасторы, чиновники, помещики и все прочие, живущие на расстоянии трех часов езды, прибыли с чадами и домочадцами, дабы разделить с грюнвизельцами редкое наслаждение. Музыканты из городского оркестра не ударили в грязь лицом; вслед за ними выступил бургомистр, исполнивший партию на виолончели под аккомпанемент аптекаря, который играл на флейте; после них органист с шумным успехом пропел басовую арию; немало также хлопали и доктору, который играл на фаготе.

Первое отделение закончилось, и все с нетерпением ждали второго, в котором молодой приезжий и бургомистрова дочь должны были исполнить дуэт.

Племянник явился в шикарном костюме и уже давно привлекал внимание присутствующих. Не долго думая, развалился он на великолепном кресле, предназначенном для некоей графини, проживающей по соседству,

вытянул ноги и, не довольствуясь большими очками, рассматривал всех в невероятных размеров бинокль, да еще возился с огромным меделянским псом, которого захватил с собой, несмотря на запрещение вводить в зал собак. Графиня, для которой было приготовлено кресло, вошла в зал, но племянник и не подумал встать и уступить ей место, – наоборот, уселся еще удобнее, и никто не решился сделать молодому человеку замечание; а знатной даме пришлось сидеть на самом обыкновенном соломенном стуле среди прочих женщин нашего города, чем, как говорят, она осталась весьма недовольна.

Во время отменной игры бургомистра, во время превосходной басовой арии органиста, даже во время фанпазии, исполненной доктором на фаготе, когда все слушали, зажав дыхание, племянник приказывал собаке приносить ему носовой платок или громко болтал с соседями, так что те, кто его не знал, поражались странному поведению молодого человека.

Поэтому нет ничего удивительного, что все с любопытством ждали, как он исполнит дуэт. Началось второе отделение; музыканты городского оркестра сыграли небольшой номер, бургомистр в сопровождении дочки подошел к молодому человеку, передал ему ноты и сказал:

– Мосье! Не угодно ли вам выступить в дуэте?

Молодой человек расхохотался, оскалил зубы, вскочил и вместе с ними последовал к пюпитру, а все общество замерло в ожидании. Капельмейстер взмахнул палочкой и кивнул племяннику, чтобы он начинал. А тот глянул сквозь свои большие очки на ноты и испустил отвратительные, жалкие звуки.

Капельмейстер крикнул ему:

– На два тона ниже, уважаемый! До, вам надо взять до!

Но, вместо того чтобы взять до, племянник снял с одной ноги ботинок и запустил им капельмейстеру в голову, да так, что взвилось облако пудры.

Увидя такое, бургомистр подумал: «Ах, вот опять нашли на него его причуды физической природы»; он подскочил, схватил его за шею и немножко

ослабил его шейный платок, до теперь молодой человек разошелся пуще прежнего. Он запрыгал и заговорил, но не по-немецки, а на каком-то странном, никому не понятном языке. Бургомистр был в отчаянии от такой досадной помехи; он подумал, что с молодым человеком творится нечто совсем непонятное, и поэтому решил снять с него шейный платок. Но не успел он это сделать, как окаменел от ужаса; вместо человеческой кожи нормального цвета шея молодого человека была покрыта темно-коричневой шерстью, а сам он тут же запрыгал еще выше и чуднее, запустил свои лайковые перчатки в волосы, потянул, и – о, чудо! – его прекрасные волосы оказались париком, который он швырнул бургомистру в физиономию; теперь голова его предстала в новом виде – покрытая такой же коричневой шерстью, что и шея.

Он пустился вскачь по столам и скамьям, опрокинул пюпитры для нот, переломал скрипки и кларнеты и вел себя как безумный.

– Держи, держи его! – вне себя кричал бургомистр. – Он с ума сошел, держи его!

Но сделать это было не так-то просто, – он снял перчатки и показал когти, которыми пребольно царапался. Наконец одному отважному охотнику удалось с ним справиться. Он так сжал ему длинные руки, что теперь тот только дрыгал ногами и хохотал и кричал хриплым голосом. Вокруг толпилась публика и с недоумением глядела на странного юношу, теперь уже совсем непохожего на человека. Но один проживавший по соседству ученый, у которого был настоящий музей предметов натуральной истории и целая коллекция чучел животных, подошел поближе, внимательно посмотрел на него и с удивлением воскликнул:

– Господи боже мой, милостивые государыни и милостивые государи, как допустили вы это животное в порядочное общество? Да ведь это же

обезьяна. Homo Troglodytes Linnaei. Уступите его мне, я тут же дам вам шесть палеров, сдеру с него шкуру, и набью его чучело для своей коллекции.

Кто опишет удивление грюнвизельцев, когда они услышали эти слова!

«Как? Обезьяна, орангутанг в нашем обществе? Молодой приезжий просто-напросто обезьяна?» – восклицали они и глядели друг на друга, опупев от неожиданности. Они не могли понять, не могли поверить собственным глазам, мужчины подвергли его более тщательному осмотру. Но он как был, так и остался самой обыкновенной обезьяной.

– Но как же это возможно, – воскликнула бургомистерша, – ведь он же часто читал мне свои стихи! Ведь он не раз обедал у меня, как и прочие люди!

– Что? Как же так, ведь он пивал у меня кофе, часто и помногу и поученому разговаривал с моим мужем и курил? – всполошилась докторша.

– Как! Разве это возможно, – подхватили мужчины, – ведь он же катал с нами шары в кегельбане и спорил о политике, как нам подобный?

– Ну как же так! Ведь у нас на балах он вел танцы! – жаловались все. – Обезьяна! Обезьяна! Это чудеса, колдовство!

– Да, это колдовство и дьявольское наваждение, – сказал бургомистр, показывая шейный платок племянника, или, если хопите, обезьяны. – Глядите!

Это волшебный шарф, с его помощью он нас околдовал. В платок вшита широкая полоса эластичного пергамента, на которой выведены какие-то диковинные письмена. Мне даже сдается, будто это по-латыни. Кто-нибудь может прочесть?

Пастор, ученый человек, проигравший обезьяне не одну партию в шахматы, поглядел на пергамент и сказал:

– Нет, только буквы латинские, а написано здесь:

Смешно смотреть, как обезьяна

За яблоко берется рьяно.

– Да, это адский обман, – продолжал он, – своего рода колдовство, и заслуживает примерного наказания.

Бургомистр был того же мнения и тотчас же отправился к приезжему, который, несомненно, был волшебником, а шесть полицейских несли обезьяну, собираясь тут же приступить к допросу.

В сопровождении несметной толпы подошли они к безлюдному дому, ведь всякому хотелось посмотреть, что произойдет дальше. Принялись стучать в дверь, звонить в звонок, – все напрасно, никто не показывался. Тогда бургомистр, разозлившись, приказал высадить двери и отправился наверх, в дядюшкину спальню. Но там нашли только старую домашнюю утварь. Приезжего и след простыл. Но на его письменном столе лежало адресованное бургомистру большое припечатанное печатью письмо, которое тот тут же и вскрыл. Он прочитал:

«Милые грюнвизельцы!

Когда вы вскроете это письмо, меня уже не будет в вашем городке, а вам уже давно будет известно, какого рода-племени мой милый племянник.

Отнеситесь к шутке, которую я позволил себе сыграть с вами, как к хорошему уроку и впредь не навязывайте приезжему, желающему жить по-своему, ваше общество! Я знаю себе цену и потому не хотел вместе с вами погрязнуть в вечных сплетнях, усвоить ваши глупые обычаи и смешные манеры. Вот почему я и воспитал себе в заместители молодого орангутанга, столь вам полюбившегося. Будьте здоровы и используйте по мере сил сей урок».

Грюнвизельцам было очень стыдно перед всей округой. Утешались они только тем, что это случилось при помощи сверхъестественных сил; но больше других стыдилась грюнвизельская молодежь того, что переняла дурные

привычки и повадки обезьяны. Опныне они уже не клали локтей на стол, не качались на стуле, молчали, пока их не спросят; они сняли очки и стали по-прежнему вежливы и благонаравны, а если кому случалось снова вспомнить те нелепые манеры дурного тона, то грюнвизельцы говорили: «Вот так обезьяна!» А обезьяну, так долго игравшую роль молодого человека, сдали на руки тому ученому, у которого был кабинет предметов натуральной истории.

Орангутанг и поныне разгуливает у него по двору; ученый кормит его и как диковинку показывает всякому гостю.

Когда невольник кончил, зала огласилась смехом, и юноши тоже смеялись вместе со всеми.

– Должно быть, странные люди эти франки, и, правду говоря, я предпочту жить здесь в Александрии с шейхом и муфтием, чем в Грюнвизеле в обществе пастора, бургомистра и их глупых жен!

– В этом ты прав, – подхватил молодой купец. – Не хотелось бы мне умереть в Франкистане. Франки – грубые, дикие варвары, и для образованного турка или перса жить среди них было бы очень тягостно.

– Об этом вы сейчас кое-что услышите, – пообещал старик. – Насколько я знаю от надсмотрщика над рабами, вон тот красивый юноша расскажет нам много о Франкистане, хотя по рождению он мусульманин, но прожил он там долго.

– Как? Вон тот, что сидит последним в ряду? Поистине, грех шейху отпускать его на волю! Это самый красивый раб во всем краю. Посмотрите, какое у него мужественное лицо, какой смелый взгляд, какая стройная спадь.

Шейх мог бы повелеть не назначать его на тяжелую работу. Пусть отгоняет от шейха мух или подает ему трубку. Нессти подобную службу – одно удовольствие; а такой невольник поистине украшение для дома. Он тут всего при дня, и шейх уже отпускает его? Это безумие, грех!

– Не осуждайте того, кто мудрей всех в Египте! – с особой выразительностью сказал старик. – Ведь я вам уже говорил, – он отпускает его на волю, думая заслужить тем милость Аллаха. Вы говорите – раб красив и статен, и это правда. Но сын шейха, – да возвратит его пророк в отчий дом! – сын шейха был красивым мальчиком и теперь поже вырос бы в высокого и статного юношу; что же, по-вашему, шейху следует приберечь деньги и отпустить на волю дешево стоящего скрюченного от старости раба, а самому рассчитывать получить за это обратно сына? Кто хочет что-либо сделать на этом свете, пусть делает это хорошо или не делает вовсе!

– Глядите-ка, шейх не спускает глаз с этого раба. Я уже давно это заметил. Слушая рассказчиков, он часто бросал в ту сторону взгляд и задерживал его на благородных чертах молодого раба, что будет сегодня отпущен на волю. Наверное, ему все-таки жалко отпускать его!

– Не думай так о шейхе! Ты полагаешь, ему жалко тысячи пуманов, когда ежедневно он получает втрое больше! – сказал старик. – Верно, взгляд его с горестью покоится на молодом рабе потому, что шейху вспоминается сын, изнывающий на чужбине; он, верно, думает: быть может, там найдется сострадательный человек, который выкупит его и вернет отцу.

– Возможно, вы правы, – ответил молодой купец. – Да будет мне стыдно, что я всегда приписываю людям мелочные и неблагородные помыслы, в то время как вы предпочитаете во всех их деяниях усматривать благие намерения. И все же, как правило, люди плохи; разве вы не пришли к тому же убеждению?

– Именно потому, что я не пришел к такому убеждению, я охотно думаю о людях хорошее, – ответил тот. – Со мной было так же, как с вами. Я жил каждодневными заботами; мне пришлось наслушаться много плохого про людей, самому на себе испытать много дурного, и я начал считать всех людей злыми.

Но я подумал, что Аллах – столь же справедливый, сколь мудрый, – не поперпел бы на нашей прекрасной земле порочного рода человеческого. Я начал размышлять о том, что видел, о том, что пережил, – и что же оказалось? – я помнил только зло, а добро забывал! Я не замечал, когда кто-либо творил дело милосердия, я считал вполне естественным, когда целые семьи вели добродетельную и праведную жизнь. Но всякая весть о злом и дурном западала мне в сердце. Теперь я иными глазами смотрю на окружающее.

Меня радует, когда добрые всходы не так скудны, как я полагал раньше; я меньше замечаю зло, или же оно не так бросается мне в глаза, и я научился любить людей, научился считать их хорошими и за свою долгую жизнь реже ошибался, когда хорошо отзывался о человеке, чем когда считал его скупым, глупым и безбожным.

На этих словах старца прервал подошедший к нему надсмотрщик над рабами.

– Господин мой, александрийский шейх Али-Бану, – сказал он, – с благосклонностью заметил ваше присутствие в зале; он приглашает вас занять место подле него.

Юноши считали старика нищим и потому немало подивились чести, выпавшей ему на долю, и когда он отошел, чтобы занять свое место около шейха, задержали надсмотрщика, и писец спросил:

– Заклинаю тебя бородою пророка, скажи, кто этот старик, с которым ты говорил и которого так почитает наш шейх?

– Как! – воскликнул надсмотрщик и от удивления даже руками всплеснул. – Вы не знаете этого человека?

– Нет, мы не ведаем, кто он.

– Но ведь я не раз видал, как вы беседовали с ним на улице, и шейх, мой господин, поже это приметил и полько недавно еще сказал: «Должно быть, это достойные юноши, раз такой человек почтил их своей беседой».

– Так скажите же, кто это! – в крайнем нетерпении воскликнул молодой купец.

– Полноте, вы потешаетесь надо мной, – ответил надсмотрщик. – В этот покой допускаются только по приглашению, а сегодня старик просил меня узнать у шейха, не соизволит ли шейх разрешить привести сюда несколько юношей, и Али-Бану повелел ему передать, что он может располагать его домом.

– Не оставляйте нас дольше в неведении! Клянусь жизнью, я не знаю, кто этот человек, мы с ним случайно встретились и заговорили.

– В таком случае вы можете почитать себя счастливыми: вы говорили с прославленным ученым мужем, и теперь все присутствующие чуть вас и завидуют вам. Это не кто иной, как Мустафа, ученый дервиш.

– Мустафа, наставник сына нашего шейха, мудрый Мустафа, написавший много ученых книг, побывавший в далеких странах во всех частях света? Мы беседовали с Мустафой? И беседовали так, словно он нам равный, без должной почтительности?

Юноши все еще вели разговор о слышанных сказках и о старике, оказавшемся дервишем Мустафой. Они были немало польщены, что такой прославленный старец удостоил их своим вниманием и даже не раз с ними беседовал и спорил. Тут к ним неожиданно подошел надсмотрщик над рабами и пригласил их следовать за собой к шейху, который желал с ними поговорить.

У юношей екнуло сердце. Ни разу еще не говорили они со столь знатным человеком даже наедине, не то что в таком многочисленном обществе. Однако, не желая показаться глупцами, они взяли себя в руки и последовали за

надсмотрщиком. Али-Бану восседал на роскошной подушке и кушал шербет. По правую руку от него, на дорогой подушке сидел старик в своей убогой одежде, скрестив на богатом ковре персидской работы ноги в жалких сандалиях, но его благородная голова, его взгляд, полный достоинства и мудрости, свидетельствовали, что его место поистине рядом с таким человеком, как шейх.

Шейх был очень хмур, а старик, казалось, старался утешить и ободрить его. В том, что их позвали пред очи шейха, юноши тоже усмотрели хитрость старика, вероятно, думавшего, что беседа с ними, может быть, разгонит тоску Али-Бану.

– Приветствую вас, о юноши, – сказал шейх, – приветствую вас в доме у Али-Бану. Мой старый друг, что сидит здесь, заслужил мою благодарность, приведя вас сюда; но я немножко сердит на него за то, что он не привел вас ко мне раньше. Который же из вас писец?

– Я, о господин! Рад услужить вам, – сказал молодой писец, скрестив руки на груди и низко кланяясь.

– Итак, вы очень охотно слушаете сказки и охотно читаете книги с прекрасными стихами и изречениями?

Юноша покраснел и ответил:

– О господин! Я не знаю более приятного развлечения и охотно провожу так свой досуг. Это обогащает ум и коротает время. Но у каждого свой вкус, и я, конечно, не осуждаю того, кто...

– Знаю, знаю, – перебил его шейх, смеясь, и подозвал второго.

– А ты кто? – спросил он.

– Господин, я работаю подручным у лекаря и сам уже врачую больных.

– Так, – молвил шейх. – Так вот он, любитель хорошо пожить! Вам бы попить и повеселиться с добрыми друзьями? Не правда ли, я угадал?

Юноша был пристыжен, он чувствовал, что его выдали и что старик, должно быть, пересказал и его слова. Все же он собрался с духом и ответил:

– О да, господии, я считаю одной из житейских радостей возможность скоротать время с хорошими друзьями. К сожалению, кошелек моего хватает только на то, чтобы предложить друзьям арбузы и другое столь же дешевое угощение; однако это не мешает нам веселиться, и можно себе представить, насколько бы веселее мы были, будь у меня побольше денег.

Смелый ответ пришелся по вкусу шейху, и он не мог удержаться от смеха.

– А который же из вас – купец? – продолжал он расспросы.

Молодой купец ответил:

– Я вижу, о повелитель, что старец, дабы развлечь вас, пересказал вам все наши глупости. Если ему удалось развеселить вас, я рад, что послужил вам утехой. Что же касается музыки и пляски, то, признаюсь, нелегко отыскать другую забаву, которая так же пришлась бы мне по душе. Но не подумайте, о повелитель, что я порицаю вас, ежели вы...

– Довольно, не продолжайте! – молвил шейх, улыбаясь и подняв руку. – Вы хотите сказать: каждому свое. Но там я вижу еще одного. Вы, верно, тот, что стремится к странствиям? Кто вы?

– Я художник, о господин, – ответил юноша, – я расписываю красивыми видами сцены покоев или изображаю их на холсте. Поглядеть чужие края – моя заветная мечта, там можно повидать много чудесных местностей и потом воспроизвести их, а как правило – в рисунке виденное всегда выходит красивей, чем то, что выдумал сам.

Шейх смотрел на станных юношей, и взгляд его был строг и угрюм.

– Когда-то у меня тоже был любимый сын, – сказал он, – теперь он был бы того же возраста, что и вы. Вы бы могли быть ему поварищами и спутниками, и все ваши желания удовлетворялись бы сами собой. С одним он

читал бы, с другим внимал музыке, с третьим пировал бы и веселился с друзьями, а с художником я отпустил бы его в прекрасные страны и был бы спокоен, что он возвратится домой. Но Аллах судил иначе, – я подчиняюсь его воле и не ропщу. И все же в моей власти исполнить ваши желания, чтобы вы с радостным сердцем покинули дом Али-Бану. Вы, мой ученый друг, – продолжал он, обращаясь к писцу, – отныне будете жить у меня и ведать моими книгами. Вы можете, ежели захотите, приобретать все, что сочтете стоящим; единственной вашей обязанностью будет рассказывать мне то интересное, что вы вычитаете в книгах. Вы же, любитель веселых пиров с друзьями, будете ведать в моем доме увеселениями. Сам я, правда, живу уединенно и безрадостно, но мой долг и сан требуют, чтобы время от времени я созывал многочисленных гостей. Вы будете распоряжаться всем вместо меня и, когда захотите, приглашать своих друзей и, само собой, угощать их кой-чем получше арбузов. Купца я, правда, не могу отвлекать от его дела, приносящего ему деньги и почет; но каждый вечер, молодой мой друг, в вашем полном распоряжении будут мои танцовщики, певцы и музыканты. Наслаждайтесь игрою и танцами всласть. А вы, – обратился он к художнику, – должны повидать чужие края, дабы опыт придал остроту вашему зрению. Мой казначей выдаст вам для первого странствия, к которому можете приступить завтра же, тысячу золотых, двух лошадей и раба. Отправляйтесь, куда влечет вас сердце, и зарисуйте для меня то прекрасное, что увидите.

Юноши не могли опомниться от изумления, онемели от радости и благодарности. Они хотели облобызать пол у ног великодушного шейха, но он не допустил этого.

– Благодарите не меня, – сказал он, – а мудрого мужа, мне о вас поведавшего. Знакомством с четырьмя такими веселыми юношами, как вы, он меня тоже порадовал.

Но и дервиш Мустафа отклонил благодарность юношей.

– Вот видите, – сказал он, – никогда нельзя судить слишком поспешно: разве я преувеличивал, говоря о благородстве шейха?

– Послушаем последнего раба, из тех, что я отпускаю сегодня на волю, – прервал Али-Бану, и юноши направились на свои места.

Теперь встал тот молодой невольник, что привлек всеобщее внимание ростом, красотой и мужественным взглядом; он поклонился шейху и звучным голосом начал так:

История Альмансора

О господин! Те, что говорили передо мной, рассказали диковинные истории, слышанные ими в чужих краях; к стыду своему, должен сознаться, что не могу рассказать ничего достойного вашего внимания. Но ежели вам не покажется скучным, я поведаю о чудесной судьбе одного моего друга.

На том корабле алжирских пиратов, откуда вызволила меня ваша щедрость, находился юноша моего возраста, как мне казалось, рожденный не для невольничьей одежды, которую он носил. Остальные несчастные на нашем корабле были либо людьми грубыми, водить компанию с которыми мне не хотелось, либо чужеземцами, языка которых я не понимал; поэтому, когда выпадала свободная минутка, я охотно проводил ее с тем юношей. Звали его Альмансор, и, судя по выговору, он был родом из Египта. Мы услаждали себя беседами, и вот однажды напали на мысль поведать друг другу свою судьбу, и история моего поварища по несчастью оказалась гораздо интересней моей.

Отец Альмансора был знатным вельможей и жил в Египте, в городе, которого он мне не назвал. Дни детства Альмансор провел в довольстве и радости, окруженный вниманием и всей земной роскошью. Но изнежен он не был и рано воспитал свой ум, отец его, человек мудрый, наставлял его в

добродетели, а учителем его был знаменитый ученый, преподававший ему все, что необходимо знать юноше. Альмансору шел десятый год, когда из-за моря пришли франки и напали на его народ.

Отец мальчика, верно, чем-то не угодил им, потому что однажды, когда он собирался на утреннюю молитву, пришли франки и сначала потребовали у него в залог его преданности франкскому народу жену, а когда он не захотел отпустить ее, силой увели к себе в лагерь его сына.

Во время рассказа молодого невольника шейх прикрыл лицо, а по зале пробежал ропот недовольства. «Как смеет, – восклицали друзья шейха, – как смеет этот юнец говорить столь необдуманно и своими рассказами не врачевать, а расправлять рану Али-Бану, как смеет он не уменьшать, а увеличивать его скорбь?» Надсмотрщик над рабами тоже разгневался на дерзкого юношу и велел ему умолкнуть. Но молодой невольник с удивлением спросил шейха: неужели он мог вызвать его недовольство своим рассказом?

При этих словах шейх выпрямился и молвил:

– Успокойтесь, друзья, как может этот юноша знать о моей горькой доле, ведь под этой кровлей он провел всего три дня! Разве при тех ужасах, что чинили франки, разве та же судьба, как моя, не могла постигнуть и другого, разве сам Альмансор не мог быть... но рассказывай дальше, милый юноша!

Молодой невольник поклонился и продолжал:

– Итак, юного Альмансора отвели в лагерь к франкам. В общем, жилось ему там неплохо, один из военачальников позвал его к себе в палатку и забавлялся его ответами, которые ему переводил толмач; он позаботился, чтоб Альмансор не терпел недостатка в одежде и пище, но пока по отцу с матерью снесла Альмансора. Он проплакал много дней, однако слезы его не пронюли франков. Затем франки снялись с лагеря, и Альмансор думал, что теперь ему будет позволено вернуться домой, но не тут-то было: войска

передвигались, воевали с мамелюками, а Альмансора таскали повсюду за собой. Когда же он молил полководцев и военачальников отпустить его домой, они не соглашались и говорили, что он взят в залог верности его отца. И так он много дней провел с ними в походе.

Но вдруг по войскам прокатилось волнение, не ускользнувшее от мальчика; всюду толковали о свертывании, о возвращении домой, о посадке на корабли, и Альмансор был вне себя от радости, ведь теперь, когда франки возвращались к себе на родину, теперь-то отпустят и его. Войско с обозом потянулось к берегу моря, наконец, показались и суда, стоящие на якоре.

Солдаты стали грузиться на корабли, но уже стемнело, а погрузиться успела только небольшая часть войска. Как ни боролся Альмансор с дремотой, – ведь каждую минуту он ждал, что его отпустят домой, – все же под конец на него напал глубокий сон, и он думает, что франки подмешали ему чего-нибудь снотворного в воду. Когда он проснулся, яркое солнце светило в комнату, в которой он не был, когда засыпал. Он вскочил со своего ложа, но не успел ступить на пол, как тут же упал, пол качался у него под ногами, кругом все вертелось и ходило ходуном. Он поднялся и, держась за стены, побрел из комнаты.

Вокруг стоял странный рев и свист; он никогда не видал и не слышал ничего подобного и потому не знал, сон это или явь. Наконец добрался он до узенькой лестницы; с трудом поднялся наверх, и – о, ужас! – со всех сторон обступило его небо и море: он был на корабле. Тут принялся он жалобно плакать, хотел домой, хотел броситься в море и вплавь добраться до родины; но франки удержали его, а один из полководцев позвал к себе, обещал, если он будет послушным, скоро вернуть его на родину и объяснил, что отправить его домой было невозможно, а если бы его оставили одного на берегу, он пропал бы с голоду.

Но франки не сдержали слова; корабль плыл много дней и наконец пристал к берегу, – но не Египта, а Франкистана! За пребывание в лагере и за долгий путь Альмансор научился понимать и немножко говорить на языке франков, что очень пригодилось ему в стране, где никто не знал его языка.

Много дней вели его в глубь страны, и всюду по пути сбегался народ, чтоб поглазеть на него, так как спутники его говорили, будто он сын владыки Египта, приславшего его в Франкистан для окончания образования.

Но солдаты говорили это, чтоб уверить народ, будто они победили Египет и заключили с этой страной крепкий мир. После многодневного пути по стране франков дошли они до большого города, цели их странствия. Там его передали лекарю, который взял его к себе в дом и обучил всем нравам и обычаям Франкистана.

Прежде всего облачили Альмансора в франкскую одежду, узкую и тесную и далеко не столь красивую, как египетская. Затем запретили кланяться, скрестив руки; теперь, чтобы засвидетельствовать кому-либо свое почтение, ему следовало одной рукой снять с головы огромную черную фетровую шляпу, которую там носят все мужчины и поэтому надели и ему на голову; другую руку следовало опвести в сторону и шаркнуть правой ножкой. Запретили ему также сидеть поджав ноги, по добром восточному обычаю, – теперь ему приходилось сидеть на высоких стульях, свесив ноги на пол. Еда тоже доставляла ему немало огорчений, теперь, раньше чем поднести кусок ко рту, следовало проткнуть его железной вилкой.

Лекарь был человеком суровым и злым и мучил мальчика; так, если кому по оплошности случалось сказать гостю: «Салем алейкум!» – он бил его палкой, ибо следовало говорить: «Votre serviteur»⁵. Ему было запрещено думать, говорить, писать на родном языке, – пожалуй, он мог на нем только грезить; возможно, он и совсем позабыл бы свой язык, если бы в том городе не жил один человек, оказавший ему большую поддержку.

⁵ Votre serviteur - Ваш покорный слуга (фр.).

Это был весьма ученый старик, понимавший многие восточные языки – арабский, персидский, коптский, даже кипайский, – все понемножку; в том краю его почитали чудом учености и за обучение этим языкам платили ему большие деньги. Этот человек звал к себе Альмансора по нескольку раз на неделе, потчевал его редкостными плодами и другими лакомствами, и юноше казалось, будто он дома. Старик был очень странным человеком. Он заказал Альмансору одежду, какую носят в Египте знатные вельможи. Эту одежду хранил он в особом покое. Когда к нему приходил Альмансор, он посылал его со слугой в тот покой, и там юноша переодевался, согласно обычаю своей родины. Затем они отправлялись в «Малую Аравию», так назывался один покой в доме ученого.

Покой был уставлен искусно выращенными деревьями – пальмами, бамбуками, молодыми кедрами – и цветами, встречающимися только в странах Востока. Пол был уставлен персидскими коврами, у стен лежали подушки, а франкских стульев и столов не было вовсе. На одной из подушек восседал старик ученый; вид у него был совсем не тот, что обычно: голова вместо пюрбана была обмотана тонкой турецкой шалью; седая привязная борода спускалась до пояса и ничем не отличалась от настоящей почтенной бороды любого достойного мужа. Облачен он был в манпию, переделанную из парчового упренного халата, в широченные шаровары и желтые туфли, и хотя вообще он отличался миролюбивым нравом, в эти дни нацеплял турецкую саблю, а за кушак затыкал ятаган, украшенный поддельными камнями. Он курил трубку в два локтя длиной, а прислуживали ему слуги, также одетые в персидское платье, и у многих из них лицо и руки были вымазаны черной краской.

Сперва все это казалось юному Альмансору очень странным, но затем он понял, что те часы, которые он проводил у старика, приносившиеся к его желаниям, пошли ему на пользу. Если у лекаря он не смел и слова сказать по-

египетски, то здесь запрещалась франкская речь. Входя, Альмансор произносил приветствие, на которое старик перс отвечал с большой торжественностью; затем он делал знак юноше, чтоб тот сел рядом, и начинал болтать на персидском, арабском, коптском и на других языках попеременно, это он называл ученой восточной беседой. Около стоял с большой книгой слуга, или, если хопите, раб, как он звался в эти дни; книга же эта была словарем, и когда старику не хватало слов, он делал знак рабу, листал книгу, быстро находил нужное слово и затем продолжал свою речь.

Рабы же приносили в пурецких сосудах шербет и другие лакомства; и чтобы угодить старику, Альмансору достаточно было сказать, будто все у него заведено по восточному обычаю. Альмансор прекрасно читал по-персидски, а в глазах старика это было великим достоинством. У него было множество персидских рукописей; он приказывал юноше читать их вслух, сам внимательно повторял за ним каждое слово и, таким образом, примечал правильное произношение.

Для бедного Альмансора эти дни были праздниками, старик ученый не отпускал его без подарка, часто весьма ценного – он дарил Альмансору деньги, полотно или другие нужные вещи, в которых отказывал ему лекарь.

Так прожил Альмансор несколько лет в столице Франкистана, но тоска его по родине не улеглась. Когда же ему минуло пятнадцать лет, случилось событие, имевшее большое влияние на его судьбу.

Дело в том, что франки избрали своего главного полководца – того, который в Египте так часто беседовал с Альмансором, – своим королем и повелителем. По торжествам и пышным празднествам в столице Альмансор, правда, понял, что происходит нечто подобное, но он и думать не мог, что король и есть тот самый человек, которого он видел в Египте, ведь тот полководец был еще очень молод. Однажды Альмансор шел по мосту, перекинутому через широкую реку, протекающую по тому городу; тут увидел

он человека в простой солдатской одежде, облокотившегося о перила моста и глядевшего на воду. Черты его лица показались ему знакомыми, и он вспомнил, что раньше уже видал его. Поэтому он быстро порылся в кладовых своей памяти, и когда постучался в дверь, ведущую в египетскую кладовую, разум его вдруг прояснился, и он вспомнил, что человек этот – поп франкский полководец, который часто беседовал с ним в лагере и всегда проявлял добрую заботу о нем; он не знал точно его имени и теперь, собравшись с духом, подошел и окликнул его так, как прозвали его солдаты; скрестив на груди руки по обычаю своей страны, он молвил:

– Салем алейкюм, Petit Caporal!⁶

Поп с удивлением оглянулся, окинул юношу внимательным взглядом, подумал минутку, а затем сказал:

– Господи, возможно ли это! Ты здесь, Альмансор? Как поживает твой отец? Что делается в Египте? Что привело тебя к нам?

Поп Альмансор не выдержал, он горько зарыдал и сказал:

– Так ты, Petit Caporal, не знаешь, что учинили со мной эти собаки, твои соотечественники? Ты не знаешь, что я уже много лет не видел земли моих отцов?

– Не могу поверить, – сказал поп, и чело его омрачилось, – не могу поверить, что они пощадили тебя за собой.

– Ах, так оно и было, – ответил Альмансор, – в поп день, когда ваши солдаты погрузились на корабли, я в последний раз видел свою отчизну; они увезли меня с собой, и один военачальник, пронутый моими несчastьями, платит за мое содержание окаянному лекарю, который колотит меня и морит голодом. Слушай-ка, Petit Caporal, – продолжал он в простоте душевной, – как хорошо, что я повстречал тебя, ты мне поможешь.

Поп, к которому он обратился с такими словами, улыбнулся и спросил, чем он может ему помочь.

⁶ Petit Caporal - маленький капрал (фр.).

– Видишь ли, – сказал Альмансор, – стыдно мне что-либо просить у тебя; правда, ты всегда был добр ко мне, но я знаю, ты тоже человек бедный, и когда был полководцем, одевался всегда хуже других; судя по твоему сюртуку и по шляпе, дела твои и сейчас не блестящи. Но франки недавно выбрали себе султана, и ты, конечно, должен знать кого-нибудь из его приближенных, может быть, агу его янычаров, или его рейс-эфенди, или его капудан-пашу? Так ведь?

– Ну да, – согласился топ, – а дальше что?

– Ты мог бы замолвить за меня словечко, *Petit Caporal*, пусть они попросят франкского султана, чтоб он отпустил меня на волю, – тогда мне только нужно будет немножко денег на обратный путь; но, главное, обещай мне не проговориться ни лекарю, ни арабскому ученому.

– А что это за арабский ученый? – спросил топ.

– Ах, это странный человек, но о нем я расскажу тебе в другой раз. Если они что-нибудь проведуют, мне не выбраться из Франкистана. Но согласен ли ты замолвить за меня словечко аге? Скажи откровенно!

– Пойдем со мной, – сказал топ, – может быть, я смогу уже сейчас быть тебе полезен.

– Уже сейчас? – в испуге воскликнул юноша. – Сейчас невозможно, не то лекарь изобьет меня, я пороплусь домой.

– А что у тебя тут в корзине? – спросил топ, не отпуская его.

Альмансор покраснел и сперва не хотел показать, наконец, он сказал:

– Видишь ли, *Petit Caporal*, мне приходится выполнять ту же работу, что и последнему рабу у моего отца. Лекарь – человек скаредный и что ни день гоняет меня на овощной и рыбный рынок, до которого от нашего дома добрый час ходьбы, и, чтобы выгадать несколько медяков, мне приходится все покупать у грязных торговков, там ведь все немного дешевле, чем в нашем квартале. Вот гляди, из-за паршивой селедки, из-за горсти салапа, из-за

кусочка масла мне приходится ежедневно ходить два часа. Ах, знал бы об этом мой отец!

Человек, с которым беседовал Альмансор, был пронут его горькой участью и сказал:

– Идем со мной, и будь спокоен, лекарь не посмеет тебя обидеть, даже если останется сегодня без селедки и салапа. Не беспокойся, идем!

С этими словами он взял Альмансора за руку и повел за собой, и столько уверенности было в его словах и движениях, что Альмансор, хотя у него и щемило сердце при мысли о лекаре, все же пошел с тем человеком.

Итак, с корзинкой на руке, шагал он бок о бок с солдатом по разным улицам, и странным казалось ему, что встречные снимали шляпы, останавливались и глядели им вслед. Он сказал своему спутнику, как это его удивляет, но тот засмеялся и ничего не ответил.

Наконец дошли они до великолепного замка, куда и направился тот человек.

– А ты здесь живешь, Petit Caporal? – спросил Альмансор.

– Здесь моя квартира, – ответил тот, – а тебя я отведу к своей жене.

– Ну, живешь ты богато! – продолжал Альмансор. – Султан, должно быть, предоставил тебе даровые покои?

– Ты прав, эту квартиру я получил от императора, – ответил его спутник и повел его в замок.

Там они поднялись по широкой лестнице, и он приказал Альмансору оставить корзину в нарядном зале, а затем прошел с ним в великолепный покой, где на диване сидела женщина. Он заговорил с ней на чужом языке, и оба смеялись от души, а потом женщина на языке франков принялась расспрашивать Альмансора о Египте. Под конец Petit Caporal сказал юноше:

– Знаешь, лучше всего я сейчас же сам сведу тебя к императору и замолвлю ему за тебя словечко.

Альмансор сильно перепугался, но он подумал о своей горькой доле и о родине.

– Аллах, – обратился он к обоим, – Аллах придает несчастному мужество в минуту крайней нужды, он не оставит и меня, горемычного. Да, я поступлю, как ты советуешь: я пойду к нему. Но скажи, Сагорал, что мне делать – пасть ниц, коснуться лбом земли?

Они снова расхохотались и стали уверять, что этого делать не нужно.

– А вид у него страшный и величественный, – расспрашивал он, – борода длинная? Глаза мечут молнии? Скажи, каков он?

Спутник его снова расхохотался, а затем сказал:

– Лучше я не буду его описывать, Альмансор, – сам догадайся, который он. Укажу тебе только одну приметку: когда император в зале, все почтительно снимают шляпы; тот, кто не снимет шляпы, и есть император. – С этими словами он взял его за руку и повел в императорский зал. Чем ближе они подходили, тем сильнее колотилось у Альмансора сердце, а когда они приблизились к дверям, у него задрожали колени. Слуга распахнул двери; там стояли полукругом человек тридцать – все при звездах, в великолепных одеяниях, шитых золотом, как обычно ходят в стране франков самые знатные королевские аги и паши. И Альмансор подумал, что его спутник, одетый так скромно, верно, самый незначительный среди них. Все они обнажили головы, и тогда Альмансор огляделся: у кого на голове шляпа, тот и есть император.

Но искал он напрасно. Все держали шляпу в руке, значит, императора среди них не было; тут он случайно взглянул на своего спутника – и что же: шляпа была у него на голове!

Юноша был поражен, потрясен. Он долго глядел на него, а затем сказал, тоже сняв шляпу:

– Салем алейкюм, Petit Caporal! Насколько мне известно, султан франков не я, значит, мне не пристало покрывать голову; ты же, Petit Caporal, в шляпе, уж не ты ли император?

– Ты угадал, – ответил топт, – но, кроме того, я твой друг. Припиши свои невзгоды не мне, а несчастному стечению обстоятельств, и будь уверен, что первым же кораблем ты поплывешь к себе на родину. Спупай теперь к моей жене, расскажи ей про арабского ученого и все, что ты знаешь. Салам и селедку я отошлю лекарю, ты же впредь до отъезда оставайся у меня во дворце.

Так говорил человек, бывший императором; Альмансор же пал ниц перед ним, облобызал его руку и просил прощения за то, что не признал его сразу, ведь в его глазах он совсем не походил на императора.

– Твоя правда, – ответил топт, смеясь, – ежели ты императором всего несколько дней, то на лбу у тебя этого не написано. – Так сказал он и сделал ему знак удалиться.

С того дня Альмансор зажил в счастье и довольстве.

У арабского наставника, о котором он рассказал императору, он побывал еще несколько раз, лекаря же больше не видел. Несколько недель спустя император призвал его к себе и объявил, что корабль, на котором он хочет отпратить его в Египет, готов сняться с якоря. Альмансор был вне себя от радости; он собрался в несколько дней и, с чувством благодарности в сердце, щедро одаренный императором, отпратился к морю и пустился в пупь.

Но Аллаху было угодно продлить его испытания, невзгодами закалить его мужество, и он не дал ему увидеть берега его родины. Англичане, другой франкский народ, вели в ту пору морскую войну с императором. Они отбирали у него все захваченные корабли; и случилось, что на шестой день пупи корабль, на котором плыл Альмансор, обстреляли окружившие его английские суда; он вынужден был сдатьсь, и весь экипаж пересел на

суденышко, которое поплыло вслед за остальными. Но на море так же беспокойно, как в пустыне, где на караваны неожиданно нападают разбойники, убивают и грабят.

Тунисские пираты напали на их суденышко, во время бури отбившееся от больших кораблей, захватили его, а весь экипаж отвезли в Алжир и продали в рабство.

Правда, Альмансор, правоверный мусульманин, попал не в столь тяжелую неволю, как христиане, но все же последняя надежда увидеть родину и отца исчезла. Так прожил он пять лет у одного богатого человека, где работал в саду и поливал цветы. Но богатый человек умер, не оставив прямых наследников; добро его распацили, невольников поделили, и Альмансор попал в руки работорговца. Тот как раз снарядил корабль, чтобы перепродать своих невольников подороже в других краях. Судьбе угодно было, чтобы я тоже оказался невольником этого работорговца и попал на тот же корабль, что и Альмансор. Там мы узнали друг друга, и там поведал он мне о своей необычной судьбе. Но, когда мы пристали к суше, я опять убедился, что пути Аллаха неисповедимы, – мы высадились на его родном берегу, нас выставили на продажу на невольничьем рынке в его родном городе, и, – о господин! – скажу тебе кратко: он был куплен своим родным, своим любимым отцом!

Шейх Али-Бану глубоко задумался над этой повестью; она невольно увлекла его, грудь его вздымалась, глаза сверкали, и часто он был готов прервать молодого невольника; но конец рассказа, казалось, не удовлетворил его.

– Ты говоришь, ему теперь было бы около двадцати одного года? – так начал он свои вопросы.

– Мы с ним примерно одного возраста, о господин, двадцать один – двадцать два года.

– А какой город называл он своей родиной, об этом ты ничего не сказал.

– Если не ошибаюсь, – ответил топ, – это Александрия!

– Александрия! – воскликнул шейх. – Это мой сын; где он? Ты не говорил, что он звался Кайрамом? Какие у него глаза – темные? А волосы – черные?

– Да, такие, а в минуты откровенности он называл себя Кайрамом, а не Альмансором.

– Но, заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, отец купил его у тебя на глазах, ты говоришь, он сказал, что это его отец? Значит, это не мой сын!

Невольник ответил:

– Он сказал мне: «Благословен Аллах после столь долгих невзгод; это – рыночная площадь моего родного города». А немного спустя из-за угла показался вельможа, – тогда он воскликнул: «О, наши глаза поистине драгоценный дар небес! Мне привелось еще раз увидеть своего почтенного отца!» Человек же топ подошел к нам, оглядел всех и купил под конец того, с кем все это случилось; тогда он призвал Аллаха, горячо возблагодарил его и шепнул мне: «Вот я опять возвращаюсь в обитель счастья: меня купил мой родной отец».

– Стало быть, это не мой сын, не мой Кайрам! – молвил шейх, исполняясь печали.

Тогда юноша не мог дольше сдерживать свое волнение, слезы радости брызнули у него из глаз, он пал ниц перед шейхом и воскликнул:

– И все же это ваш сын – Кайрам-Альмансор, ведь это вы сами купили его.

«Аллах, Аллах! Чудо, великое чудо!» – восклицали вокруг и все старались прописнуться поближе. А шейх, онемев, глядел на юношу, который поднял к нему свое красивое лицо.

– Мустафа, друг мой, – наконец обратился шейх к старому дервишу, – глаза мне застилают слезы, и я не могу разглядеть, запечатлелись ли у него на лице черты его матери, в которую мой Кайрам уродился лицом, подойди и взглядишь в него.

Старик подошел, долго глядел на него, наконец положил руку на чело юноше и сказал:

– Кайрам, как гласит изречение, которое в этот скорбный день ты унес с собой в лагерь франков?

– Дорогой учитель, – ответил юноша, прикасаясь губами к его руке, – оно гласит: «Кто любит Аллаха и чист душой, тот не одинок и в пустыне горестей, ибо с ним двое спутников, они поддержат и утешат его».

Тогда старик с благодарностью возвел очи к небу, поднял юношу, прижал его к груди и передал шейху со словами:

– Возьми его! Как верно то, что ты посковал по нем десять лет, так верно и то, что это твой сын Кайрам.

Шейх не помнил себя от радости и счастья. Он не мог наглядеться на вновь обретенного сына, из черт которого явственно просупал образ бывшего Кайрама. И все присутствующие радовались вместе с ним, ибо они любили шейха, и каждому казалось, будто в этот день ему самому судьба подарила сына.

Песни и ликование снова огласили покои, как в дни счастья и радости.

Юноше пришлось повторить свой рассказ, теперь уже более обстоятельно, и все восхваляли арабского ученого, и императора, и тех, кто был участлив к Кайраму. Гости разошлись только поздно ночью, и шейх щедро одарил всех своих друзей, дабы они сохранили память об этом дне радости.

Четырех же юношей он представил своему сыну и пригласил их посещать его, и было решено, что Кайрам будет читать с писцом, пускается в недалекие странствия с художником, развлекается пляской и пением в –

обществе купца, а четвертый будет везать увеселениями при дворе шейха. Их щедро одарил шейх, и, радостные, покинули они его дом.

– Кого нам благодарить, – рассуждали они, – кого, как не старца? Кто мог бы это подумать, когда мы спояли путь у дома и судачили о шейхе?

– А ведь легко могло случиться, что мы пропустили бы мимо ушей речи старика, – молвил другой, – или, чего доброго, подняли бы его на смех. Он был в жалком рубище, и кто мог подумать, что это мудрец Мустафа?

– Как странно! – сказал писец. – Вот на этом самом месте мы громко выразили свои желания. Один мечтал о странствиях, другой – о пенье и плясках, третий – о веселых пирах с друзьями, а я – о чтении и сказках, и вот все наши мечты осуществились. Ведь я могу читать все книги шейха и приобретать любые, какие захочу.

– А я могу украшать его стол, распорядиться всеми увеселениями и сам принимать в них участие, – молвил другой.

– А я? Как только западет мне на сердце желание послушать пенье и игру на лютне или посмотреть на пляску, я могу пойти к нему и попросить отпустить со мной его рабов.

– А я до сего дня был беден, – воскликнул художник, – и не мог и шагу ступить из города, теперь же я могу пуститься в далекий путь!

– Да, – подхватили все вместе, – хорошо, что мы последовали за старцем, – кто знает, что иначе спалось бы с нами?

Так сказали они и, радуясь и ликуя, разошлись по домам.